

[Polaris]

Елизавета
МАГНУСГОФСКАЯ



НЕ УБИЙ

Сборник
рассказов

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXXIII



Salamandra P.V.V.

Елизавета
МАГНУСГОФСКАЯ

НЕ УБИЙ

Сборник рассказов

Собрание рассказов
Том II

Salamandra P.V.V.

Магнусгофская Е. А.

Не убий: Сборник рассказов (Собрание рассказов. Том II). Сост. и подг. текста А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 107 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXIII).

Во втором томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890-1939/42) полностью представлен сборник «Не убий» (1929), все рассказы в котором посвящены «преступлениям страсти». В приложении — этюд «В пустынных залах» из альманаха «Литераторы и художники воинам» (1915). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.



НЕ УБИЙ

Сборник рассказов

Е. Магнусгофская



T. Davidsen.
Не убий

РИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«САЛАМАНДРА»
1929

*И пусть убьешь...
Быть может — ложь...
Что ты убийца — убивая...*

К. Д. Бальмонт

Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его.

Притчи Соломона 28-17

РОМАН, КАКИХ МНОГО

Это был самый обыкновенный, пошлый роман.

Он был — героический баритон, она — хорошенькая конторщица. Роман их тянулся несколько месяцев, но знали они друг друга, в сущности, мало. Он знал, что Нина бедна, получает очень небольшое жалованье и содержит больную старушку-мать. Предлагал ей иногда денег. Она не брала...

Знал, что в ранней молодости у Нины был жених, который погиб какой-то трагической смертью. Подробности Клеонский не интересовался. Когда женщина говорит о своем прошлом — всегда бывают слезы. А слез он не выносил.

Нина не знала про своего возлюбленного даже — женат он или холост. Жениться на ней он все равно не собирался.

Ей было двадцать шесть лет. Ему... Да кто же говорит о годах артиста?

Безрадостная молодость. Гибель любимого жениха... Плохо оплачиваемый труд. Упреки больной, капризной матери... Случайное знакомство после концерта... Затаенная нега и страстный крик тоски в голосе баритона...

Остальное понятно само собой...

Нина не знала еще тогда, что певец может лгать — как лжет художник, поэт, писатель, воплощающий образы, которых нет в его душе, заставляющий плакать над своими творениями — в которых нет правды... А только бездушные, хоть и яркие, краски...

В их романе не было поэзии... Клеонский никогда не говорил ей, что любит ее, не позаботился даже о том, чтобы создать красивую рамку своим желаниям. Пугал ее иногда своим неприкрытым цинизмом... Но голос, голос — божественный голос певца — держал ее в неразрывных сетях...

Нина не раз хотела порвать все, бежать от него, но каждый вечер ее неудержимо влекло в ярко освещенный зал... И она шла — покорно, безвольно, чтобы только упиться этими звуками...

Нину волновал каждый поднесенный ему венок, каждый взгляд, брошенный им в публику... Старалась скрыть

свою ревность — не умела... А Клеонский искусственно подогревал это чувство: ревность забавляла певца, придавала особую пикантность их отношениям.

«Женщина, которая ревнует — не охладает...»

Театральный сезон окончился. Клеонский в этом году не уехал за границу, а поселился на ближайшем курорте. Нина думала — ради нее... Она приезжала к нему часто.

Но с каждым утром, когда возвращалась она домой, ей все тяжелее было смотреть в тусклые глаза старушки-матери, верившей в существование какой-то подруги.

А Нина заблудилась в густом тумане, сотканном из безумных ласк, нескромных поцелуев и звуков...

Этих звуков, за которые можно было бы отдать жизнь...

Но внезапно туман расступился, и за ним Нина увидела целое море пошлой, грязной лжи... Нина, наивно верившая, что она у Клеонского одна — убедилась, что ей изменяют. Приехала невзначай — и застала у него какую-то блондинку...

На другой день Клеонский прилетел в город «рассеять недоразумение». Говорил все, что говорят в подобных случаях мужчины. Да чем он, наконец, виноват, что женщины так и льнут к нему?

Она не верила и плакала. Клеонский ненавидел слезы. Стал груб... Потом смилостивился, и, уходя, бросил:

— Приезжай завтра — поскучаем вместе...

Слишком уверенный в своем обаянии, Клеонский не сомневался, что Нина приедет.

И Нина приехала.

...Никогда, казалось Елеонскому, не были так горячи ласки его любовницы, как в эту ночь... Или это — июльский воз-

дух?..

Молчаливые ласки. И ни слова о ревности. Ни единого упрека...

— Приезжай в субботу, — крикнул ей вслед Клеонский, даже не приподнимаясь, — завтра и послезавтра я занят.

Эта фраза окончательно решила ее колебания.

— Значит, завтра и послезавтра не «мои» дни... Ну, что же — пусть приезжает она, пусть!..

Нина решительно вышла в столовую, где стоял уже приготовленный завтрак.

На другой день весь город облетела молва о самоубийстве оперного артиста Клеонского. Газеты передавали различные предположения. Слухи, ходившие по городу, были один чудовищней другого. В одном сходились почти все: причина самоубийства — романтическая.

И называли героинями несчастной любви артиста самых высокопоставленных дам...

На похоронах был весь город. Многие театралки плакали навзрыд. Ученицы драматических курсов и хористки стояли с заплаканными глазами. Хорошенькая блондинка, жена одного из видных чиновников города, долго крепилась, бессильно опершись на руку своего мужа. Но, когда гроб был опущен в могилу и священник бросил первую горсть земли, — она не выдержала, и, забыв о муже, о публике, о грозящем скандале — забилась в истерику...

Тогда из толпы выступила бледная, с впалыми щеками, постаревшая за три дня Нина.

Взглянула на священника, на зиявшую могилу, которую уже забрасывали землей, на молчаливую толпу. И, остано-

вив свой взор на рыдавшей блондинке, сказала полицей-
мейстеру, стоявшему с ней рядом:

— Арестуйте меня. Это я отравила Клеонского. Я тоже
была его любовницей...

ЛОТТХЕН

Их было три.

Три женщины, совершенно различные во всем: взглядах, наружности, характере.

Татьяна Ивановна — бесцветная шатенка, вялая, апатичная, болезненная, всегда недовольная, часто заплаканная, обрюзгшая уже к тридцати годам.

Ольга Николаевна — высокая брюнетка с большими серыми глазами, которые казались в минуты гнева зелеными. Все движения ее порывистые, речь быстрая.

Лоттхен — миниатюрная блондинка с «ангельскими» голубыми глазами, хрупкая, как северский фарфор.

И все эти три женщины, столь несхожие во всем, любили одного и того же мужчину.

Тот, кого они любили, был самый обыкновенный человек. Может быть, немного лучший, чем многие, но не сделавший в своей жизни ровно ничего, чем мог бы выделиться из толпы. Не имевший ровно никаких способностей и талантов.

В юности, еще на школьной скамье, да в полутолодные университетские годы, были у него какие-то порывы, стремления в высь, мечты о помощи ближним.

Но потом все заглохло.

Любовь тоже обманула. Любимая женщина оказалась полным ничтожеством. Он понял это слишком поздно. Пороdochность помешала ему вырваться на свободу. Он женился.

И пошли прахом все мечты молодости...

Повседневная пошлость властно вступила в жизнь Владимира Петровича. И во образе ворчливой тещи, и во образе капризной жены, и во образе распущенных детей. Жизнь выдвинула на первый план материальные интересы.

Владимир Петрович поступил на казенную службу, на тепленькое место. И сделался таким же, как все... Служил, работал, получал повышения, награды. Нанял хорошую квартиру. Завел приличную обстановку.

Но чувствовал себя неудовлетворенным. Хотя с годами привык и чувство это стало как-то глуше. Ушло в глубь души... В самую ее глубь...

И внезапно судьба столкнула его с женщиной, напомнившей ему идеал его ранней молодости, вызвавшей в нем снова забытые порывы. В уютной гостиной молодой художницы он находил и покой, и утешение. Черпал силы для своей повседневной будничной жизни...

Одно облако нарушало иногда гармонию их любви: Ольга была очень ревнивой. Но ревность ее, в первое время, за неимением пищи, проявлялась сравнительно редко.

Два года длился их роман. Потом нашлись досужие кушутки, которые «открыли Татьяне Ивановне глаза».

Пошлые упреки, обмороки, слезы. Вмешательство достойной мамы.

Но Владимир Петрович, покладистый в обыденной обстановке, дал неожиданный отпор, когда попробовали коснуться грязными руками того единственно прекрасного, что было в его жизни.

Произошел разрыв. Теща уехала, поклявшись «не переступать порога дома этого гнусного человека».

Стало еще противнее. Жена устраивала сцены чаще. Иногда по несколько дней, не будучи в сущности больной, не вставала с постели. Дети, слушавшиеся только строгую бабушку, распустились окончательно.

Пришлось нанять гувернантку. Но ни одна не могла долго ужиться со сварливой Татьяной Ивановной.

И вот вошла в жизнь Владимира Петровича новая женщина — маленькая Лоттхен — блондинка с «ангельскими» глазами.

Вошла она в его жизнь с того вечера, когда позвонилась у дверей и робко ответила на вопрос:

— Я по объявлению.

Владимиру Петровичу показалась она слишком молодой, но понравилась детям и Тане, и на другой же день водворилась в маленькой комнатке рядом с детской.

Татьяна Ивановна хворала неделями, и Лоттхен взяла в свои маленькие, но энергичные ручки и детей, и хозяйство. Татьяна Ивановна привыкла к ее заботам. Владимир Петрович смотрел на нее, как на старшую дочь. Ей шел всего восемнадцатый год...

И долго не замечал, что Лоттхен влюблена...

Она была влюблена, первой девической любовью. По ночам, запершись в своей каморке, заливалась слезами, считая себя ужасно-ужасно несчастной. Потом стала убеждать себя, что и думать то о нем — грех, что он — человек женатый. Но где же было устоять немецким нравственным принципам, если Владимир Петрович жил под одной с ней кровлей?

У Татьяны Ивановны женского самолюбия было мало. О том, что муж изменяет ей, знали все знакомые — от нее же самой. Не сочла она нужным скрываться и перед Лоттхен, которую считала своим человеком.

Однажды вечером, когда мужа не было дома, рассказала она гувернантке, со многими охами и вздохами, историю его измены.

Этот вечер открыл перед девушкой новый мир. Слова Татьяны Ивановны были для нее словами освобождения. Значит, она отнимет его не у законной жены, а у какой-то чужой женщины, конечно, дурной и злой... На всю жизнь

взглянула теперь Лоттхен под новым углом.

Ей удалось увидеть Ольгу в театре, с Владимиром Петровичем. Она долго не сводила бинокля со своей счастливой соперницы, изучая ее черты.

И всю ночь снились ей эти серые, блестящие глаза...

Но и Ольга увидела Лоттхен.

На Рождестве ведомство, в котором служил Владимир Петрович, устраивало в клубе елку, и Ивановы шли обычно туда всей семьей. Но на первый же день праздника Татьяна Ивановна заболела, и мужу пришлось взять детей с Лоттхен.

Ольга Николаевна никогда не бывала в этот день в клубе, чтобы не встречаться с Татьяной Ивановной. Но на этот раз ее затащили знакомые. Целой компанией гуляли они между резвящейся детворы. Ольга, рассеянно слушая анекдоты знакомого доктора, искала глазами Владимира. И вдруг увидела его, наклонившегося близко-близко к хорошенькой блондинке, смотревшей на него такими наивно-влюбленными глазами.

Надменно ответила Ольга на поклон Владимира Петровича, не ожидавшего ее встретить — и смерила глазами Лоттхен.

Взгляды их встретились. И трудно было сказать — в чьих глазах было больше ненависти...

— Ну, можно ли быть такой несусальной, Оля?

Он ходил взад и вперед по комнате.

— Ведь не мог же я один возиться с детьми. И опять-таки, не мог я, бросив детей, побежать за тобою!... Если бы гувернантка и не выдала меня, то не забывай — Верочка большая, она уже все понимает... Зачем же создавать дома ад?..

— А вчера, когда я встретила тебя с ней на улице?

— Опять-таки, мы были же с детьми... И вышли из дома вместе совершенно случайно... Ты скоро запретишь мне находиться с ней в одной комнате... Пойми же, что мы живем в одном доме!...

— Отлично понимаю... И знаю, почему ты стал теперь реже бывать у меня. Я не хочу, чтобы она жила у вас, — прибавила она неожиданно.

— Не могу же я, ради твоего каприза, выгнать на улицу бедную девушку... Она, во-первых, очень нуждается, а потом, я не вижу никакой надобности отказывать ей: она исполняет свои обязанности добросовестно...

— Я не хочу!

— Какая ты эгоистка... И какая злая, Оля... И потом... неужели ты не сознаешь, что своими подозрениями только наталкиваешь меня на мысль? Никогда я не видел в ней женщину... Она для меня — дочь, младшая сестра...

— Но она в тебя влюблена!

— Да брось ты эти глупости — смешно!..

— Я видела, какими глазами смотрела она на тебя... там, на елке... Она должна от вас уйти!

— Да пойми, что это невозможно... Есть же у меня, наконец, обязанности перед семьей... Ты отлично знаешь, как мы мучились с гувернантками... Лоттхен — первая, которая сумела поладить с женой...

Ольга Николаевна замолчала. Но в глазах ее продолжала светиться та же упрямая мысль...

Владимир Петрович поднимался по лестнице, умиротворенный. Он помирился с Ольгой после устроенной ею сцены. Ах, теперь сцены эти стали так часты! Встреча с Лоттхен лишила Ольгу покоя. Эта ревность, эта ревность... Как ядом, отравляла она их отношения... И сегодня, — что это был за дикий порыв!

— Я тебя люблю, люблю, и потому ревную, — шептала

она, как в бреду, — я верю, что ты мне ни разу не изменил... Но если ты изменишь мне... я убью ее! Убью, кто бы она ни была... Хотя бы твоя жена...

— Ах, Ольга, Ольга, — вздохнул Владимир Петрович, отыскивая ключ.

— Какая досада — никогда не забывал ключа... Придется позвонить... И прислуги-то нет, утром жена рассчитала...

Отперла Лоттхен.

— Лоттхен, да вы не ложились!

— Я всегда долго читаю — днем некогда.

— Нехорошо, дитя мое. В два ложится — в семь встает.

— Разве вы не хотите ужинать? — спросила Лоттхен, видя, что он направился к себе. — Сегодня я готовила.

— Собственно, я ужинал в гостях...

Он все же последовал за Лоттхен в столовую.

— Что это? Неужели котлеты с зеленым горошком? Лоттхен, вы угадываете мои вкусы...

— А здесь — ваши любимые грибы...

— Вы удивительная прелесть, Лоттхен... — добродушно сказал Владимир Петрович, целуя придвинувшую тарелку руку.

Но она вырвала руку и убежала...

«Она влюблена в тебя», — вспомнились ему Ольгины слова.

А девушка лежала на постели, борясь с истерическими рыданиями.

Лоттхен не спала всю ночь. То, что проснулось в ее душе, когда она узнала, что у Владимира Петровича есть любовница, властно вступило в нее после первого — невинного — поцелуя руки.

Наивная Лоттхен с чистыми глазами умерла. Наутро с постели встала другая.

Страстная женщина...

Однажды Владимир Петрович, вернувшись из клуба

очень поздно и, против обыкновения, навеселе, услышал, — как показалось ему, — какие-то стоны. Он заглянул в спальню жены — Таня спала мирным сном. Открыл дверь в детскую — оттуда доносилось ровное дыхание спящих детей. Очевидно, стоны шли из комнаты гувернантки. Он постучал.

— Вы больны, Лоттхен?

— Войдите, пожалуйста.

— Что с вами?

— Мне очень нехорошо.

— Не послать ли за доктором?

— Нет, не надо... Посидите несколько минут со мной...

Так страшно одной.

Владимир Петрович видел, что у девушки сильный жар.

Он сел на стул у кровати.

— Не уходите, — сказала Лоттхен, когда Владимир Петрович сделал какое-то движение, и схватила его за руку.

Потом утихла. Он думал, что Лоттхен заснула, и хотел осторожно освободить свою руку.

Но она прошептала опять:

— Не уходите...

— Я не уйду...

Ему хотелось спать. В клубе было выпито немало, а пил он редко.

— Я вас люблю, — сказала Лоттхен внезапно, но так тихо, что он подумал: послышалось.

— Люблю, — повторила Лоттхен еще раз и прижалась губами к его руке.

— Лоттхен, что вы делаете?..

— Вы не хотите позволить даже этого, — сказала она, когда Владимир Петрович освободил свою руку. И, отвернувшись к стене, заплакала — громко, по-детски.

«Еще услышит жена», — с тоской подумал он и встал.

— Вы совсем больны... Постарайтесь заснуть...

Владимир Петрович направился к двери.

— Не уходите, не уходите! — капризно просила она.

Лоттхен села в постели. Владимир Петрович стоял в нерешительности в дверях.

— Ложитесь, Лоттхен, — сказал он мягко, и, подойдя к больной, успокоительно дотронулся до ее плеча. Но Лоттхен поняла его прикосновение иначе и неожиданно обвинила его шею своими нагими горячими руками.

— Поцелуйте меня, поцелуйте! — шептала она, как в бреду, — я хочу хоть на минуту узнать счастье взаимной любви... Ведь я еще никого не любила... Никого и никогда не целовала...

Ее горячие губы искали его губ. И, почти бессознательно, отдал он ей поцелуй.

— Я люблю тебя, люблю, — продолжала шептать Лоттхен, прижимаясь к нему всем своим полунагим телом.

У него начинала кружиться голова...

Рядом заплакал ребенок. Они не слышали.

Татьяна Ивановна проснулась. Надела туфли и прошла в детскую. Ей было холодно. Билось сердце от внезапного пробуждения. Поднималась досада на гувернантку, которая спит рядом и не слышит.

Успокоив испугавшуюся чего-то во сне трехлетнюю Сою, Татьяна Ивановна подошла к комнате Лоттхен и быстрым движением раскрыла дверь...

На другой день Лоттхен без памяти отправили в больницу. Татьяна Ивановна написала матери письмо в двадцать страниц. А встретив на улице Ольгу, смерила ее торжествующим взглядом.

Ольга поняла значение этого взгляда: она знала уже все.

От самого Владимира Петровича.

Через полгода Владимир Петрович встретил Лоттхен на улице. Он был в отвратительном настроении. Целую не-

делю не успевал, за массой служебных дел, заглянуть к Ольге. Сегодня получил от нее письмо с просьбой, вернее — требованием — прийти вечером непременно. А именно сегодня-то он и не мог: обещал идти с женой в оперу. Такое желание возникало у Татьяны Ивановны не чаще двух раз в год, и отказать ей — значило создать недели на две дома ад. Не пойти к Ольге — это похуже...

А тут еще эта Лоттхен... Да около самого Ольгиного дома.

«Три богини спорить стали», — съязвил сам над собой Владимир Петрович, — рассеянно слушая ее развязную — как будто слишком развязную — болтовню.

Лоттхен вообще изменилась. В ней было что-то неуловимо новое, что действовало на него неприятно.

Она болтала, что у нее хорошее место, в семье директора оперного театра, что ее там любят.

— Я так люблю музыку... И теперь я могу так часто ходить в оперу...

— Я тоже иду сегодня в оперу, — рассеянно сказал Владимир Петрович.

— С ней?

— Да, с ней.

Они не поняли друг друга. Лоттхен спрашивала про Ольгу, он думал о жене...

Иванов зашел к Ольге, предупредить ее, чтобы не ждала его вечером. И очень пожалел.

— Больше недели не был у меня — забежал на минутку... Надо идти в театр — подумаешь, нужда какая!..

— Да ты, никак, начинаешь ревновать меня даже к жене? — возмутился Владимир Петрович и ушел не простясь.

А она, со всей экспансивностью своей несдержанной натуры, крикнула ему вслед, перегнувшись через перила:

— Я тебе отомщу, вот увидишь...

Соседка открыла любопытно дверь.

Спектакль затянулся. Было много вызовов. В гардеробе пришлось тоже ждать долго. Потом Татьяна Ивановна копалась целую вечность с ботами. Извозчики, конечно, все оказались разобранными. Татьяна Ивановна не любила и не умела ходить пешком. Она нудно ныла, повиснув на руке мужа.

Проходили мимо дома, где живет Ольга. Раздражение Владимира Петровича давно улеглось, и он с досадой думал о том, что нельзя зайти к ней помириться.

«Разволновалась, бедная, наверное, не спит», — с нежностью думал он.

Но наверху в ее окнах было темно.

У Татьяны Ивановны (с ней вечно случалось что-нибудь) расстегнулся ботик. Она остановилась поправить его у самого подъезда. Владимир Петрович смотрел на темные Ольгины окна и думал:

«Если бы знала ты, Оля, как я близко — и как далеко...»

Впоследствии, даже на суде, Владимир Петрович никогда не мог припомнить, как это случилось: был выстрел... два крика, один за другим... страшных, животных крика...

Помнил только, как растерянно подхватил истекавшую кровью жену...

Наступили кошмарные дни.

Татьяна Ивановна была убита наповал.

Ее похороны. Расспросы детей.

Арест Ольги, на которую указали добрые знакомые. Соседка выступила свидетельницей, как Ольга, в день убийства, выкрикивала угрозы...

Уличная грязь, полицейский сыск вторглись в красивый храм его любви...

Когда увидел он Ольгу там, в тюрьме, он еле мог говорить от волнения.

— Оля, как ты могла?..

Что-то сдавило ему горло.

А она посмотрела на Владимира Петровича большими — теперь потухшими — глазами и спросила грустно-грустно:

— И ты этому веришь?

И странный взгляд этих чужих теперь глаз остался надолго в памяти Иванова.

Потянулось судебное разбирательство. Таскали на допросы. Имя Ольги, забрызганное грязью, не сходило со столбцов газет.

Скрепя сердце, отправил он детей к теще. Знал, что их восстановят там против него. Но все-таки там было лучше. Ведь Верочке шел одиннадцатый год. Свиданий с Ольгой он больше не добивался: слишком тяжело... Адвокат говорил, что дело почти безнадежное: хладнокровное, преднамеренное убийство...

Каторга...

Прошло четыре месяца с той ночи, когда роковой выстрел навсегда нарушил сказку его любви.

День слушания процесса был назначен. Владимир Петрович вернулся от адвоката и собирался уже ложиться спать, когда посыльный принес письмо. Иванов распечатал серый конверт, от которого пахло карболкой, надписанный чужим почерком, и прочел:

«Я умираю... Должна с Вами говорить... Городская больница, барак 7, комната 5.

Лоттхен».

Не до Лоттхен было ему теперь. Но совесть не позволила отказать умирающей. Ведь у нее никого не было на свете... Он оделся и поехал в больницу.

Разве это — Лоттхен, эта бледная, изможденная, умирающая больная? И глаза стали не те: мутные, неприятные...

— Я умираю, — тихо сказала она. — Я хотела молчать и никто не узнал бы моей тайны... Но вчера я видела смерть... Она пришла и стала там, в углу... И скалила зубы... Понимаете: моя смерть... и тогда я поняла, что так умереть я не могу... Боже мой, как вы постарели! — внезапно прервала она себя.

— Вы что-то хотели сказать, — мягко заметил он.

— Что я хотела сказать? — загадочно протянула она, и в глазах ее зажегся какой-то огонек. — Вы знаете, что это я убила ее? Что вы так смотрите на меня? Я не брежу... Берите карандаш и записывайте... А я потом подпишусь... Можно будет еще позвать двух свидетелей — сестру и сиделку. Готовы? Ведь я ошиблась. Да, ошиблась. Я не желала никакого зла вашей жене. Я хотела убить ту... вашу...

Я не знаю, когда у меня впервые мелькнула эта мысль... Может быть, той ночью... Помните ту ночь?.. Помните?..

Но я не гнала этой мысли... Я наслаждалась ею. Я скоро не могла думать больше ни о чем... Я ждала случая... И он представился... Вы сказали: «Я иду в театр с ней»... Ведь вы всегда ходили в театр с той... С женой — почти никогда... Как я могла думать... Я ждала в подъезде, когда вы подойдете. Вы понимаете: я ждала этой минуты, как ждут любовного свидания... Я слышала уже издали ваш голос. Она молчала. Было темно. Разве могла я подозревать, что закутанная фигура — не она?.. Вы остановились у порога. Я решила, что момент удобен... Остальное вы знаете. Когда вы наклонились над ней, я выскочила из подъезда и убежала...

Я узнала о своей ошибке из газет. И думала, что сойду с ума. Ведь я хотела убить ее, а наоборот — помогла вашему счастью... Теперь не оставалось препятствий вашему браку с ней...

Но когда я узнала об аресте Ольги — о, как я торжествовала тогда!.. Месть оказалась слаще, чем я думала... Ви-

дочь ее, облитую грязью! Наслаждаться мыслью, что и вы верите в ее вину!..

Я ждала дня, когда суд вынесет обвинительный приговор. Я каждый день читала газеты... Тогда я хотела прийти к вам прежней Лоттхен и сказать:

— У детей ваших нет матери... Они привязаны ко мне... Я заменю им мать... Мне ничего не надо... Я хочу быть только близ вас и ваших детей...

Вы ведь не могли знать, что прежняя Лоттхен умерла в ту ночь, когда она узнала первые ласки...

Я заболела. Была долго больна. Хозяева положили меня сюда, заплатили за комнату — и забыли... Навещали очень редко... Иногда присылали что-нибудь...

Я лежала дни и ночи, мечтая о своем выздоровлении... Но вот, видно, не судьба...

Угрызений совести у меня не было: ведь я же не хотела убивать Татьяну Ивановну, она хорошо относилась ко мне... Ну, а для нее так лучше: больные в тягость себе и другим...

И только вчера вечером охватил меня ужас. Я уже говорила: увидела смерть. Умираю... Зачем? — Жалко. А впрочем, может быть, так лучше.... Нажмите кнопку... Пусть придут свидетели.. Можете предъявить завтра на суде... Не знаю, буду ли я завтра еще жива. Я не хотела бы дожить до ее освобождения. Что же не идет сиделка? Звоните еще!

А вы думаете, что будете с ней счастливы?

Ну, ее освободят, вы женитесь на ней, уедете куда-нибудь, где не знают о процессе... Но разве же вы забудете эти сомнения, эту грязь, что осела на вашей любви? А она — разве она забудет, что и вы поверили?... Отвернулись от нее, как все? — Никогда...

Вы видите, я все-таки отомстила...

ДУРНОЙ ГЛАЗ

— Да где это ты, матушка моя, пропала? Неужели все-нощная тянулась до десяти часов?

Девушка молчала, виновато опустив в землю глаза. Руки ее, теребившие носовой платок, выдавали сильное волнение.

— Да нет, Анна Павловна, всенощная кончилась раньше, — затараторила благообразная старушка в темном платке, — а вот с Катенькой неладное приключилось. Побледнела это она в церкви, гляжу я, думаю: вот-вот упадет... Я вывела ее посидеть в притвор. Ну, а как пошли люди-то из церкви, я побоялась идти с ней, чтобы не затолкали. Ну, так мы и переждали, пока все разошлись, и пошли тихонечко.

— Что это с тобой, Катенька? — меняя тон, спросила мать, вглядываясь в бледное лицо девушки.

— Лихорадит, мамаша, — нехотя отозвалась та, и снова передернула ее дрожь.

— Простудилась, видно, как намедни от тетки под проливным дождем возвращалась. Ну, иди, Господь с тобою....

— Мать перекрестила девушку широким крестом. — Ерофеевна принесет тебе чаю с малиной.

В спальне полутемно. Душно. Пахнет не то мятой, не то ромашкой. Катерина сидит в одной рубашке на постели и, покачиваясь со стороны на сторону, как человек, у которого что-нибудь болит, смотрит в одну точку.

— Легла бы, Катюша, что так сидеть, — говорит Ерофеевна.

— Нет, я не хочу спать... Мне страшно, Ерофеевна...

— Ну, чего же, ласточка моя, ведь слышала ты: все будет хорошо.

— Страшно, очень страшно.... Ерофеевна, разве же это правда, что, ежели желать человеку зла — то исполнится?...

— Конечно... Сама знаешь, если молиться за кого, желать добра, благословлять, — то Бог услышит и пошлет по молитве. То же и зло: если пожелать кому, да как следует — сбудется, бесприменно сбудется...

— А ежели человек ни в чем не повинный?

— А это уже все равно: проклятие, как и благословение — оно слепое, кому послано, к тому и прицепится...

Наступило молчание. Где-то, на другом конце дома, гулко и протяжно пробило одиннадцать часов.

— Ерофеевна!

— Что, милая?

— А ведь это — большой грех... желать человеку зла? Ведь Бог накажет за это?

— Не накажет тебя, голубушка моя. Ты ведь чистая. А грех твой я на себя возьму.. Вот, даст Бог, поправлюсь ногами, пойду на богомолье, в Киев — все грехи заодно замолю.. А ты бы легла, право, а то, неровен час, мамаша зайдет — еще не поздно...

Девушка послушно легла, но сна не было ни в одном глазу. И настойчиво вспоминалась все одна и та же картина.

Темная, мрачная комната, освещенная одной свечой. Какая-то странная жаровня с потрескивающими угольками. На огне — черный котелок. Свет падает на лежащее в воде кольцо, и красный его рубин кровавым глазом смотрит в темноту. Наклонившись над котелком, шепчет какие-то злоедающие слова отвратительная, растрепанная старуха.

— Смотри теперь в воду, девушка, видишь?

— Ничего не вижу.

— Смотри еще, смотри...

Старухины слова так и режут ухо.

— Ну?

— Не вижу, не вижу...

Старуха проводит беззвучным кошачьим жестом по ее

черным волосам. Катерина устало закрывает глаза. Наступает тишина, нарушаемая только потрескиванием углей и шипением воды.

— Открой глаза! — приказывает старуха.

Опущенные веки поднимаются и широко открытые зрачки смотрят прямо в воду.

— Видишь?

— Вижу, вижу... Это ведь я, как в зеркале... Я сижу у окна. Темно. Сегодня обещал придти Ваня. Ерофеевна — слышишь — он уже свистит. Ерофеевна, да бери же скорей ключ от калитки... Боже мой, какая она копунья... Да не забудь привязать Барбоску, а то помнишь, как он напугал нас в прошлый раз. Барбоска, Барбоска!.. Ну, Ерофеевна, возьми же его!.. Ваня, милый... Нет, не надо... Я сама сойду сейчас в сад, ведь тепло... Милый, как долго ты заставил себя ждать!...

Старуха проводит рукой над водою.

— Ваня, где же ты? Ваня!... Ах, вот он... Какой бледный и грустный... Что с тобой? Или нет, молчи, я знаю... Завтра твоя свадьба... Ах, Ваня, Ваня... Если бы ты любил меня, не побоялся бы послушаться отца... Видно, тебе его деньги дороже, чем моя любовь... Боишься — лишит наследства... Говоришь — будешь всю жизнь любить меня... Неправда, скоро разлюбишь... Разве можно не любить жену-красавицу? Ваня, разве же я хуже ее? Разве мои черные глаза не ярче ее тусклых очей? Разве мои руки не белее ее рук? Разве мои черные косы не прекрасней ее бесцветных волос?...

И снова проводит старуха костлявой рукой над котлом. Сдвинулись черные брови. Злой огонь загорается в широко открытых очах девушки.

— Подлая разлучница!... Что смотришь на меня, улыбаешься? Думаешь — он будет любить тебя? Никогда, никогда... Как же я ненавижу твои голубые глаза, твои красивые плечи!... Будь ты проклята!...

Криком вырывается это у Катерины... Рука поднята, словно хочет нанести удар врагу.

— Тише, тише! Рано еще, девушка, заносить руку, — невозмутимо говорит старуха. Катерина снова закрывает гла-

за. В жуткой комнате молчание. Ерофеевна с беспокойством смотрит на бледное лицо девушки.

— Где я? Ерофеевна, ты здесь?

— Здесь, здесь, ласточка моя... Напугала ты нас всех, как крикнула на Надьку.

— Бабушка, — хватает Катерина костлявую, сморщенную руку, — изведи ты ее!... Все отдам я тебе, что имею!... Денег нет у меня, мамаша не дает... Но у меня есть бриллиантовые серьги, есть дорогой перстень, жемчужное ожерелье. Я все отдам тебе... Изведи только ее, подлую!...

Алчностью загораются маленькие старухины глазки.

— Я могу дать тебе зелья, — шепчет еле слышно она, — подмешай в питье — в три дня сгорит...

— Нет, нет, не хочу я этого, бабушка... За это на каторгу идут.

Усмехается бабка. И от улыбки — еще отвратительней ее лицо.

— За Камалкино зелье еще никто на каторгу не пошел. Ну, коли ты трусиха, мы иначе сделать можем... И не я делаю — сама сделаешь... Ты ненавидишь ее, отвечай?

— Ненавижу, бабушка.

— Желаешь ей гибели?

— О, еще как! — глаза Катерины сверкнули злобой.

— Ну, вот и желай. Желай каждый час, каждую минуту. Проснешься ночью — вспомни ее недобрым словом. Как закричала ты давеча: «Будь проклята», — так и кричи каждый час твоей жизни... Злые глаза у тебя, девушка, — живо изведешь супротивницу...

— Разве у меня дурной глаз, бабушка? А я и не знала...

— Дурной, дурной... Ох, дурной для твоих супротивников... Ну, иди домой, ложись спать, и не забывай совет Камалкин. Увидишь: не выпадет еще снег, как не будет у тебя злой разлучницы...

— Ерофеевна, Ерофеевна!... Ну, вот, ты дремлешь и не слышишь, как он свистит...

— Да чудится тебе, ласточка моя. Так и вечер было: свистит, говорит, свистит, а вышла к калитке — нетути никого. Не придет он сегодня — поздно, а вот завтра утречком я...

— Не надо, Ерофеевна... Он не придет, видно, никогда. Вот уже две недели, как не кажет глаз. Не любит он меня больше, вот что. Ерофеевна, видала, какими глазами смотрела на меня вчера Надька? Чует, подлая, что бросил он меня... И что нашел в ней? Ерофеевна, разве я хуже ее? Лгала твоя бабка, все налгала! Уж как целовала я ее вчера, а сама думала: «Будь ты проклята, подлая!» Днем и ночью думаю я о ней, — а ей хоть бы что — цветет пуще прежнего... Ерофеевна, послушай... Теперь и впрямь свистят. Ерофеевна, это он. Да бери же скорее ключ, там, под подушкой!...

— Милый, любимый... Не уходи же ты так скоро... Две недели не был у меня, а теперь бежишь, торопишься... Али не любишь меня больше?

— Ну, перестань... Сама знаешь, что люблю. А надо идти домой. Наденька завтра именинница, грех ее сердить... Приду в другой раз, голубушка...

— Да. Наденька, Наденька... Знаю, не любишь ты больше меня, любишь жену свою. А я ненавижу ее, ненавижу!... Ну что же, иди к ней, не смей возвращаться никогда!... Ну, иди же!..

— Какая ты недобрая, Катерина... — серьезно сказал он, — а я и не знал, что у тебя такие злые глаза...

— Мои глаза — злые только для супротивников... — повторила Катерина слова знахарки и добавила: — а для тебя они добрые и хорошие... Ну, не уходи!.. Останься со мною... хоть немножко!...

— Неправду сказала ты мне, бабка! Сказала — изведешь ее, а стало еще хуже, чем было. Не любит меня больше милый, знать, опоила его зельем жена, приколдовала к себе... Или я мало дала тебе? У меня есть еще дорогой перстень. И его отдам — изведи ты только, пореши мою разлучницу.

— Мало терпения у тебя, девушка. Ну, иди сюда, садись подле Камалки — смотри в воду. Судьбу увидишь, свою судьбу... Что видишь, девушка?

— Богатый дом. Много гостей, будто праздник. Дом-то, как будто, знакомый. Ну, конечно. Это загородный дом Бочаровых. А вот и старик Бочаров. И Ваня с ним. А Надька-то, Надька как разрядилась... В пух и прах... И как ласков с ней Ваня... А еще говорит, что не любит... Берет за руку, смотрит в глаза... Больно, бабушка, больно!

— Смотри! — властно приказывает старуха, — сама хотела видеть.

— На лодках, дяденька, Нил Семеныч? Какой вы добрый... Это — подарок ко дню моих именин? Миленький дядя, славный мой! Я поцелую дядю. Можно, Ваня?

— Ну, так и быть, можно, — улыбается муж.

И, наклонившись к Надиному ушку, шепчет ей что-то... раковым цветом заливается Надя.

— К лодкам, к лодкам!

Шумной гурьбой валит вся компания к реке. У пристани, качаясь на волнах, белеют три лодки, украшенные цветными фонариками.

— Как будет красиво, когда стемнеет, — радуется, как ребенок, Надя. — Зажжем фонари...

— Сюда, Надежда, ко мне... А вот мужа и не пустим, а что? Сегодня я ухаживаю за племянницей!..

Молодежь со смехом занимает места в первой лодке. Все льнут к весельчаку-дяде, особенно девушки.

— Нет, вправду, садись лучше во вторую, Иван, а брат Сергей пусть идет в третью. Распорядиться надо будет. Кор-

зины-то я уже велел поставить.

— Все в порядке, дядя,

— Ну, отваливай, с Богом...

За рекой догорает полымем заря. Ровно всплескивает вода, ручейками сбегая с весел. С первой лодки несутся звуки разухабистой русской песни. Что серебряный бубенчик, звенит, выделяясь из хора, голосок Нади.

— Не возитесь, ребята, — успокаивает расходившуюся молодежь Нил Семенович. — Ну, долго ли до греха. Эх, правду сказал брат, не следовало бы брать с собой вина. Да слышь, что ли, Андрюшка, перестань баловаться! Ну, чего сел на борт? Сойди, говорят тебе! Видишь, как лодка-то крепится. Андрюшка!...

Крик заглушает слова дяди — крик, раздавшийся со второй лодки и подхваченный на третьей...

Крики, стоны, суетня...

Только две лодки с бледными, перепуганными людьми плывут по тихой глади засыпающей реки.

— Видела?

— Видела, — дрожа, как в лихорадке, отвечает словно очнувшаяся от страшного сна Катерина. — Это так будет, бабушка?...

— Это так *было*. Нету у тебя больше, девушка, злой супротивницы...

Счастливо, богато, на зависть всем живут молодые. Не чает души в своей Катерине Иван, никогда не надеявшийся стать ее мужем.

Много ласк дарит он любимой жене, но не может прогнать из глаз ее тяжелую кручину, понять которой не может никак. И никто не знает, отчего так грустна порой Катери-

на... И только старая Ерофеевна свято, как могила, хранит эту страшную тайну...

Часто, часто в сумерки, когда муж не возвращался еще из Гостиного двора, идет Катерина в теплую горницу к старушке, и, сев на скамеечке у ее ног, шепчет:

— Страшно... Ерофеевна... страшно мне... Мне опять снилось, что иду я к исповеди... Почему всегда один и тот же сон, Ерофеевна? Батюшка — старый-престарый, а глаза строгие, как у Николы-Чудотворца. Говорю ему, в чем согрешила. А он смотрит на меня и говорит:

— Не все сказала, Катерина... Был у тебя еще один тяжкий грех...

Я же лгу, — а сама смотрю ему прямо в глаза: «Нет, мол, не было».

А батюшка отвечает:

— Так не дам я тебе отпущения, не дам, не дам...

Страшно мне, Ерофеевна... Страшно...

— Чей это заколоченный дом?

— А это дом купцов Бочаровых, богатые купцы. Хорошие люди. Богобоязненные, честные. Да не дает Бог счастья... Вот теперь Иван — хороший человек, тихий, и за что, за какие грехи Бог наказал — одному Ему ведомо. Женился он на красавице — и богата, и умна, и добра была... Года не прожил с ней — утонула в реке, как раз на свои именины...

Погоревал, погоревал, ну а потом женился на второй... Вестимо — человек молодой... Тоже была и красавица, и умница... Работница какая, рукодельница — каких воздухов для церкви не вышивала... У нас, у Николы-Чудотворца... Все, почитай — ее работа... Уж так дружно жили они, так хорошо... А вот — прожил с ней года два — и отправил в желтый дом... И чего бы, кажется, ей — так ее любил Иван, что просто зависть брала смотреть...

А вот, решила она, говорят люди, — будто виновна в

смерти Надежды, его первой жены. Кричит: «Это я убила ее... Я сжила ее со света своими злыми глазами...»

А глаза ее, и впрямь, были злые-презлые, черные... блестящие...

А сама злой не была — Царство ей Небесное...

Видно, крепко любила мужа-то, не перенесла разлуки — сама себя порешила в больнице...

НЕ УБИЙ

Глафира Ивановна встала очень рано. Впрочем, она и ночью-то почти не спала — все боялась проспать.

Все в комнате было убрано еще с вечера, но Глафира Ивановна все же находила себе дело: то вытрет и без того блестящую крышку рояля, то обдернет белоснежную занавеску, то передвинет цветы.

Цветов Глафира Ивановна наставила всюду: очень любит их Валя.

Сестра должна была приехать восьмичасовым поездом. Но он значительно опоздал: ночью на сороковой версте от города были повреждены пути. И на станции сказали, что не знают даже приблизительно времени прихода поезда. Поэтому Глафира Ивановна решила ждать сестру дома. Но ожидание было ужасно томительным.

Она не видалась с сестрой больше года. Последнее свидание длилось пять минут — там, в больнице.

Валя была единственным дорогим Глафире Ивановне существом, единственной, к кому была привязана ее стареющая душа.

Старая девушка сильно волновалась при мысли о свидании. Но к радости примешивалось чувство гнетущего беспокойства.

Есть же такие кошмары, которых не в силах смыть никакие страдания, никакие раскаяния, никакие запоздалые упрёки совести...

Нет, нет... Заняться чем-нибудь, чтобы не лезли в голову непрощенные воспоминания!

Звонок...

Сердце старой девушки забилося громко и часто, когда она рванулась к двери. Валя стояла в дверях, в своей короткой осенней кофточке, фетровой шляпе с черным пером —

в том самом костюме, в котором видели ее два года назад в Киеве...

Только похудела она. Особенно исхудали ее красивые руки, которыми, не без основания, так гордилась молодая женщина.

— Глаша, ты не встретила меня даже на вокзале!

Это прозвучало укоризненно.

Глафира Ивановна, стоявшая минутку в каком-то оцепенении, рванулась к сестре и молча обняла ее. У обеих показались слезы.

— У тебя нет багажа? — спросила Глафира Ивановна, и сейчас же почувствовала всю неловкость своего вопроса, когда сестра сказала:

— Откуда же... Я надеюсь, ты покормишь меня, — прибавила Валя, — я не успела позавтракать на вокзале.

— Да чего же я стою! — засуетилась Глафира Ивановна, — ведь у меня все давно готово... Самовар кипит уже больше часа... Подкладываю угольки... Давай чемоданчик — снесу в твою комнату... Идем в столовую... Или ты сначала пройдешь к себе умыться с дороги? Там, в твоей комнате...

— Моя комната, — протянула Валя, отворяя дверь, — как давно не была я здесь... Сколько лет прошло с тех пор, Глаша?... Я вышла замуж четыре года назад...

Валя остановилась на пороге светленькой комнаты, залитой утренним солнцем, и долго-долго смотрела на знакомую обстановку. Потом прислонилась к косяку и как-то так, сразу, беззвучно заплакала.

— Валя, успокойся, — мягко дотронулась до ее плеча сестра.

— Это сейчас пройдет... Я давно не плакала...

Валя вытерла глаза.

— «Там» я не плакала никогда... Даже не вспоминала. А вот — увидела свою комнату — и воскресло все... Ведь это все было сном, мучительным сном? Ну, скажи мне, что я никуда не уезжала, что никогда не была замужем, что зовут меня — Валя Крутилова!...

Она говорила нервно, как говорят люди, которым долго не с кем было перемолвиться словом. Может быть, чуть-

чуть театрально...

— Успокойся, милая, — тихо сказала старшая сестра, — конечно, все — сон, все пройдет.. Ведь и вся наша жизнь — сон...

Грустная улыбка промелькнула по лицу Вали.

— Хорошо тому, кто может себя утешать верой...

— А ты разве не веришь?

Сердце старой девушки екнуло.

— Не знаю... Ты думаешь: здесь — сон, а там наступит пробуждение? А я вот думаю — там сон, вечный сон... Да, впрочем, не все ли равно, что будет там... Мне хочется жить, Глаша! Разве недостаточно страдала я эти годы? Я молода, я хочу жить, наверстать все, что потеряла... Жить хочется, Глаша... Мне двадцать пять лет... И молодость пройдет так скоро-скоро...

Уставшая с дороги Валя давно уже спала. Глафира Ивановна сидела на своей кровати и думала, думала...

Ей все еще не верилось, что Валя, которую она считала навеки потерянной, что Валя опять с ней... Но какое-то гнетущее чувство отравляло эту радость.

Глафира Ивановна ожидала увидеть постаревшую, осунувшуюся женщину, с признаками страдания на лице. А увидела — прежнюю Валу. Правда, слегка похудевшую и побледневшую, но по-прежнему кокетливую и живую.

Смотрела на ее холеные руки, аппетитно намазывавшие хлеб, и не могла отделаться от мысли:

«А ведь руки эти зарезали человека!..»

«Валя — убийца», — мысль, с которой не могла, вот уже два года, освоиться Глафира Ивановна.

И в миг свидания с сестрой мысль эта заработала с новой силой...

...Глафира Ивановна была против брака сестры. Зная ее капризный и себялюбивый характер, она болела душой за судьбу Вали. И притом, Валин жених, Каменский, внушал ей какое-то неприятное чувство.

Не такого мужа желала она любимой сестре: ей нужен был спокойный, уравновешенный человек, способный обуздать ее любящую крайности натуру. Но Каменский — он производил впечатление очень легкомысленного человека — и молод. Всего на три года старше Вали.

Глафира Ивановна взялась за неблагодарную задачу — убедить Валью в ошибочности ее выбора. И добилась только того, что между сестрами пробежала первая тень.

Но когда она стала получать от Вали короткие, но дышавшие восторгом первого счастья письма — она бранила себя старой идиоткой.

— Ведь Валя счастлива, а я хотела помешать ее счастью!...

Но сердце старой девушки не верило в его прочность...

Так прошло около двух лет. А потом в Валиных письмах зазвучали новые нотки. Ничего определенного, но именно эта недоговоренность, неясность и стала беспокоить Глафиру Ивановну. Порывалась поехать в Киев сама, но все мешали дела: она была начальницей гимназии.

Наконец, воспользовалась летними каникулами и отправилась к сестре.

Всего два года не виделись сестры, но Валино замужество, новая жизнь, новые люди, — все это поселило между ними какой-то холодок.

Глафира Ивановна видела, что Валя страдает, но она замкнулась в себе, хранила упорно полное молчание о своих переживаниях.

Помог случай. Как-то, войдя невзначай в переднюю, Глафира Ивановна увидела сестру, прильнувшую ухом к замочной скважине. По-видимому, та подслушивала разговор на

лестнице. Глафиру Ивановну испугало выражение ее лица — чужое, злое.

— Валя!

— Уйди, — прошептала та, — уйди!...

Глафира Ивановна пожала плечами и ушла к себе. Но не успела закрыть за собой двери, как раздался звонок, и в передней послышались громкие голоса.

— Опять, опять ты был с нею! — говорил чужой голос, так мало напоминавший мелодичный Валин голосок.

— Случайность, — лениво оправдывался муж.

— Не лги! Я слышала часть вашего разговора...

Теперь Глафира Ивановна вспомнила, как раздражительно отзывалась Валя о жившей этажом выше опереточной певице, которая своим вечным пением «действовала ей на нервы». Говорила, что будет искать новую квартиру, как только кончится срок контракта. И все снова и снова возвращалась к этому вопросу.

Глафире Ивановне стало все ясно.

Боже, как безнадежно пошлой была вся эта история...

Но Валя, бедная Валя...

Прошел июль. Половина августа. Глафира Ивановна все сидела в Киеве, не решаясь оставить сестру, все больше и больше углублявшуюся в свои переживания. Валино состояние страшно беспокоило...

В конце августа, когда кончился контракт, Глафира Ивановна уговорила Каменского переменить квартиру. Переехали в совсем другую часть города.

И Валя заметно оживилась.

Но перемена была ненадолго. Однажды Валя пришла домой вечером очень расстроенная и возбужденная. Прошла прямо к себе, легла. Ночью у нее поднялась температура, сделался бред. Хотела послать за доктором. Валя капризничала и не позволяла.

Она не вставала весь следующий день. А когда в комна-

ту входил муж — сестра заметила это — притворялась спящей.

Около восьми часов вечера Глафира Ивановна вошла к сестре и страшно удивилась. Валя стояла, совершенно одетая, перед зеркалом и прикалывала шапочку.

— Господь с тобой, куда ты?... Марш обратно в постель!

— Мне надо идти! — твердо ответила Валя.

— Куда ты пойдешь, ведь ты совсем больна!

— Физически я не больна, Глаша... Это все оттого, что я вчера узнала... И я должна убедиться... Сегодня — или никогда... Понимаешь: сегодня или никогда.

Валин голос дрожал. Глаза блестели. Слова были похожи на бред.

— Я тебя не пущу! — сказала сестра.

— Пустишь! Ты не смеешь меня держать, не смеешь!

В Валином голосе прозвучали истерические нотки.

— Я должна, наконец, знать все. Я знаю, что они сегодня встретятся. Он и сейчас у нее.

— Да, может быть, ты ошибаешься, и муж вовсе не изменяет тебе?

Глафира Ивановна в первый раз назвала вещи своими именами.

— Не изменяет! — истерически засмеялась Валя. — Да он изменял мне с первого же месяца после свадьбы! Ах, ты этого не знала? Ты была так наивна? Ну, не все были так наивны, как ты... Ну, а теперь пусти, — я должна быть там!..

Как горько упрекала себя все эти годы Глафира Ивановна, что не сумела удержать сестру в этот роковой вечер...

... — Я не хотела его убить, — говорила на суде Валя, — я вообще не помню, как все это произошло...

Осталось в памяти, как я отпирала дверь своим ключом. Дом был построен по-старому, ключи у всех квартир почти одинаковые... Я случайно сохранила ключ от нашей прежней квартиры... Он подошел...

Помню: прокралась по коридору до последней комнаты... Спальни... Там я увидела их...

А потом был туман... туман... Я очнулась, увидевши кровь... И когда она кричала....

В руках у меня был нож... Но откуда я взяла его — не знаю...

Больше полугода длилось предварительное заключение. Потом еще долго продержали Валю на испытании в психиатрической лечебнице.

Затем было судебное разбирательство. Глафира Ивановна приехать не могла. «Та» осталась жива и выступала на суде свидетельницей... И это было для Вали тяжелее всего...

Газеты раздували процесс в сенсацию. «Из ревности зарезала мужа» — аршинными буквами писали они в заголовках...

Суд Валю оправдал, как совершившую преступление под влиянием аффекта.

Да, судьи оправдали ее.

Ну, а совесть?

«Разве совесть не зовет ее властно на суд? — думала Глафира Ивановна, ворочаясь на своей узкой постели. — Неужели она может жить, как все, быть беззаботной, веселой, “пользоваться жизнью”, — как говорила она сейчас? Неужели можно вычеркнуть из жизни эту черную страницу, словно ее вовсе и не было?»

Глафира Ивановна опустила на подушку свою седеющую голову и глубоко задумалась о судьбе единственного близкого ей существа, казавшейся ей загадочной и скорбной...

ИЗ ЗАПИСОК УБИЙЦЫ

...Сквозь решетку окна вижу клочок голубого неба. Я люблю смотреть на него долго-долго...

Когда я так смотрю, мне вспоминаются юношеские годы, когда вся жизнь казалась такой же светлой и чистой, как это небо...

Боже, как давно это было...

А ведь мне только двадцать восемь лет...

Я безумно люблю свободу. Меня гнетут эти мрачные стены, дают тяжелые решетки окна.

В простенке между домов — калитка. По воскресеньям и четвергам, от двенадцати до двух — прием. Тогда она по-минутно открывается, пропуская посетителей. Тогда я вижу мельком улицу и прохожих.

Как ненавижу я их, и как завидую я им: они свободны!...

Что же — это их право. Они достойные члены человеческого общества, порядочные люди.

А я — убийца...

Да, убийца. Обвиняюсь в хладнокровном, обдуманном убийстве.

Каторга...

А судьи, которые приговорят меня, не сделали бы они на моем месте того же самого?

А впрочем, может быть, и нет. Ведь люди трусливы.

Раскаиваюсь ли я в своем преступлении?

Не знаю.

Есть, правда, какое-то неприятное чувство, но я не нашел еще ему определенного названия.

Боль разлуки с Клавдией гораздо сильнее этого чувства.

Ведь я люблю ее, люблю!...

Ни одна женщина в мире не дала мне столько счастья, как Клавдия. Ни одна женщина не причинила мне столько

страданий, как она...

Клавдия никогда не любила своего мужа. Она уважала в нем честного, хорошего человека и была привязана к нему, как к старшему брату.

Он был не плохой человек. Но... я не видал в жизни никогда такой тряпки, как Ивлев!...

И такому человеку считала она нужным хранить верность!...

Я знаю, что был первым, с кем она изменила мужу.

И знаю, чего это ей стоило.

Муж ее, врач, был на войне. Дети гостили у бабушки. Безмятежно протекали наши медовые месяцы.

Потом дети вернулись. Тут пробежала между нами первая тень. Я стал ревновать Клавдию к ним. Ведь они отнимали у меня часть ее любви, которая должна была принадлежать мне одному!

Дети не любили меня. Инстинктивно чувствовали во мне врага.

По природе я вовсе не зол. Но никогда в жизни и ни к кому у меня не было такой ненависти, как к белокурой трехлетней Лидочке и капризному Косте — вылитому портрету отца...

Они были моими главными врагами... Они а не муж!...

Потому что, не будь их...

Сколько раз умолял я, между бешеных ласк, Клавдию:

— Брось его, иди ко мне!..

Но неизменно она отвечала:

— А дети? Не будь их, я давно разошлась бы с мужем...

Не будь их...

Ревнивое воображение часто издевалось надо мною.

— А если вернется твой муж, Клавдия, ты не изменишь мне?.

Она наивно удивлялась:

— Да ведь он же — мой муж!

Женщины, женщины... Странная у вас логика! Муж — значит, надо принадлежать ему, хотя бы и нелюбимому, хотя бы и чужому...

О, если бы он никогда не возвращался!...

Война... Мало ли что может случиться?..

Пока он жив — это я понял — Клавдия ко мне не придет. В ней было две женщины. Мать, горячо привязанная к своим детям, и любовница — беззаветно любившая меня.

А у меня была только одна жизнь. И жизнь эта принадлежала ей, Клавдии.

Зачем вернулся Ивлев?

Контуженный, он приехал на поправку. Теперь Клавдии приходилось делить свою жизнь между мной и домом. И мне часто доставались одни урывки...

Она вечно торопилась, беспокоилась, боялась. Ей приходилось обманывать и лгать, что претило ее честной натуре.

Муж не был ревнив и слепо верил Клавдии. И это мучило ее еще больше...

Сколько раз звонила она мне по телефону, обещая прийти вечером.

Я отделивался от надоедливых посетителей, отпускал прислугу и часами жадно прислушивался к хлопанью нижних дверей.

Ждал долго, томительно. Текли минуты, часы. Она не приходила.

Работать в эти вечера я не мог. Ходил из угла в угол, и темные мысли роились в моей голове.

Должно быть, в один из таких вечеров родилась в моем мозгу мысль:

— Убей...

Сначала я гнал ее. Но, когда ревнивое воображение рисовало мне мучительные картины — я стал черпать в этой мысли утешение.

Я избегал бывать у Ивлевых. Я не принадлежу к тем порядочным людям, которые могут жать вашу руку, заботливо осведомляясь о вашем здоровье, быть вашим поверенным во всех делах — и любовником вашей жены...

Если Ивлев, не стесняясь меня, как своего человека, целовал жену в лоб — дикая злоба овладевала моей душой.

Во мне просыпался какой-то первобытный дикарь. Хотелось броситься к нему, сдавить его горло, крикнуть:

— Мое!

В редкие минуты, когда Клавдия бывала со мной, я спрашивал ее в каком-то лихорадочном бреду:

— Клавдия, ты не изменила мне?

Она смотрела мне в глаза своим честным, открытым взглядом и отвечала:

— Нет.

И я знал, что Клавдия не лжет...

Ее глаза сказали мне все, когда вошла она ко мне дождливым сентябрьским вечером.

И в этих серых глазах, полных слез, прочел я то же, что говорили когда-то ее губы:

— Ведь он же — мой муж!

Я хотел оттолкнуть ее от себя! Но ведь я безумно любил эту женщину. Как мог я теперь ласкать это тело, которое еще вчера ласкал другой?! Другой, который воображает, что имеет на это какое-то право...

Нет в мире иного права, кроме права любви...

И этого права я не уступлю!...

Я оставил Клавдию рыдающей и пошел к нему. По дороге обдумывал я все детали. Был холоден и спокоен, сам удивляясь своей выдержке.

Была ли это жалость — чувство, что промелькнуло у меня, когда Ивлев открыл мне дверь и, протягивая руку, проговорил:

— Как я рад, как я рад, голубчик!... А Клавы нету дома. Я совсем один...

Или я, или он...

А не оба...

Говорят, убийце всюду мерещится картина преступления. Неправда.

Воспоминание об этом вечере беспокоит меня не больше, чем какой-нибудь кошмар, виденный ночью.

Раскаиваюсь ли я? — Повторяю: не знаю.

Я поступил неумно, это правда: Клавдия не хочет видеть убийцу...

А ведь я хотел освободить ее!..

Да вот, не сумел схоронить концов в воду. Выдержки не хватило — не профессионал...

Клавдия боится встретиться со мной.

А ведь я люблю ее, люблю...

Знает ли она, какое это ужасное чувство: неудовлетворенная страсть, распаляемая жгучими воспоминаниями?

В такие минуты у меня является неестественная сила...

Мне кажется, я мог бы сломать эти железки, высадить плечом дверь. Я начинаю стучать, кричать. Но они привыкли к этому... Да и стены толсты и сквозь них только глухо проходит звук.

Мне все кажется, что она придет еще, придет...

Она не может не прийти!..

Она должна понять!..

Сегодня я получил от Клавдии письмо. Пишет, что уезжает к матери и увозит детей. Значит, ей дети дороже любовника...

Пишет:

«Я могу только молиться за тебя...»

Как будто кому-нибудь там нужны ее молитвы...

...Ну что же... послезавтра суд... Осудят, сошлют в бессрочную каторгу — и добродетель восторжествует...

...Ну, нет, на каторгу я не пойду... Мне довольно и этих шести месяцев, что провел я за решеткой...

Я безумно люблю солнце, свободу...

Что же... я сумею освободиться...

Надзиратель глуп... Я писал, писал все утро... Когда он вошел ко мне, сменяясь в полдень, я попросил его очинить мне карандаш. Он дал мне ножик... Да так и забыл его... А нож — только что отточенный... Тонкое, острое лезвие, на котором играет луч вечернего солнца — единственный, что проникает ко мне в камеру...

.

Как хорошо мне теперь, как хорошо...

Клавдия...

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Вечерело. В дачные окна смотрели голубые майские сумерки.

Агния Андреевна убрала чайную посуду и подсела к мужу, сидевшему у раскрытого окна.

— Хорошо, — сказала она.

— Да, хорошо, — ответил он.

Помолчали.

— Лет двадцать тому назад ты бы сказала это иначе, — проговорил Осип Петрович, словно отвечая на какую-то свою мысль.

— Лет двадцать...

Что-то странное промелькнуло в глазах Агнии Андреевны.

Сумерки сгущались. Ветер принес дальний звук пастушьего рожка и мычание стада.

— Что может быть лучше покоя! — сказал он.

— Покой — смерть, — грустно возразила она.

— Ошибаешься. Не всегда. Покой — источник творчества. Разве за окном — смерть? Послушай и посмотри.

— Кажущийся покой, да?

— Да, относительный. Мы с тобою тоже пребываем в покое. И сознайся, разве этот покой не лучше тех бурь, которые мы переживали лет двадцать-тридцать тому назад?

Она не ответила, сосредоточенно глядя в окно.

— Теперь мы живем созерцательной жизнью, созерцаем наше прошлое, его ошибки и радости.

— Прошлые...

В голосе пятидесятилетней проскользнула какая-то молодая нотка.

— В такие вечера всегда приходят воспоминания... Кажется, что живешь снова.

— Не делайся сентиментальной, — зевнул Осип Петрович. — Я этого не мог терпеть даже с наши медовые месяцы...

— Они были коротки...

— Да. Потому что ты была несносной. Одна твоя нелепая ревность чего стоила.

— Но сознайся, что не всегда она была без почвы.

— Ну... не всегда... Теперь прошло уже тридцать лет... И она давно умерла...

— Ты говоришь о моей сестре Нюте, к которой я так ревновала тебя в первые месяцы своего замужества? Скажи, между вами было что-нибудь?

— Было. Она была очень интересной любовницей... И остроте ощущений помогало, что все происходило почти на твоих глазах...

— Но ты так отрицал!

— Я же не сумасшедший... Ведь ты была способна меня убить!..

— А она? Она клялась мне, что чиста передо мной...

— Нюте ничего не стоило поклясться...

— Ну, довольно о ней. Не надо тревожить мертвых. Ну, а та гувернантка соседей, всякую близость с которой ты отрицал со смехом? Она тоже была твоей любовницей?

— Жанетта? Была.

— А вдовушка Томина? А учительница Петрова? А наша жилища Бравина?

— Как ты помнишь имена... Я давно позабыл их...

— Но они были твоими любовницами? Все?

— Были...

Старик зевнул.

— Вот, когда выходит все наружу, — силясь улыбнуться, сказала Агния Андреевна. Но получилась только гримаса.

— Послушай... — прибавила она другим тоном, — разве ты меня никогда не любил?

— Как тебе сказать... Любил, конечно... Но ты мне очень надоедала своей ревностью. И любовь твоя порой бывала приторной. Но, в общем, я чувствовал, что лучшей жены, чем ты, мне не найти. Вот почему я и не разошелся с тобой. Я знал: придет время, ты перегоришь, и вот будет та-кой покой...

— Покой...

Агния Андреевна высунулась в окно. Было темно. Белая ночь пугала грозой.

— Пора и спать, — сказал Осип Петрович. — Да закрой окно, — что-то прохладно...

В уютной спальне перед образами теплилась красная лампадка.

Осип Петрович давно уже спал, заливаясь мелким, довольным храпом. Агния Андреевна сидела в столовой у окна — не закрыла его — и глядела тупо в темноту.

В эту ночь перед глазами старой женщины снова проходила вся жизнь. Проходила под новым углом.

Тридцать лет с ним...

До него не было ничего — одна пустота. Он дал содержание ее жизни, породил в душе ее новый, неведомый до того культ — культ любви.

Он был ее кумиром, богом, всем...

Тридцать лет — только для него.

Тридцать лет...

И начинала успокаиваться стареющая душа, и, чем дальше отходила молодость, тем больше ступеньками спускались кошмары прошлого. Оставалась только благодарность судьбе, давшей такой подарок, как его любовь, как жизнь с ним...

Еще сегодня утром, наслаждаясь весенним теплом, думала Агния Андреевна о том, сколько светлого было в ее жизни...

И вдруг — несколько слов — и картина прошлого разлетелась, как мираж...

Вся жизнь — обман.

Вся жизнь — ложь.

И любовь, притворявшаяся тридцать лет — тоже фата-моргана...

— Покой, — говорит лицемер.

Если бы он знал, какой покой кипит в душе седой женщины с сердцем двадцатилетней!..

Лгать три десятка лет...
И не узнать за это время ее души!

Агния Андреевна вошла в спальню.

Красная лампадка мягко освещала обстановку — так давно знакомую, ту же самую, как всегда и все-таки — такую чужую сегодня... Лампадка горела сегодня как-то тревожно... Колебалось пламя. Мигало.

Да, все, как было... Только он... Тогда молодой, сильный... И лживый... Теперь седой, в морщинах — теперь он не лжет...

Почему?

Трус он был тогда, трус!

Не ради нее, — ради своего возлюбленного покоя лгал он столько лет!

«Ты могла меня убить тогда...»

— А теперь не могу?

Агния Андреевна остановилась у кровати спящего. Но не старика, седого и хилого, видели ее глаза.

Все оскорбления, все измены, вся кошмарная боль прошли снова в ее душе.

И пристален был взгляд ее черных, совсем не старческих глаз...

Спящий почувствовал это и проснулся.

— Ты что? Я испугался.

— Испугался? — резкий, жуткий смех прозвучал в комнате и отдался по саду.

— Ты что? — повторил он, приподнимаясь в постели.

Но две костлявых руки схватили его и повалили назад.

— Любишь покой, да? Ради собственного покоя мог притворяться всю жизнь? Покоя хочешь, покоя?..

Безумные жестокие глаза, — глаза карающей Немезиды, — смотрели прямо в душу Осипа Петровича.

А цепкие руки, обвинившиеся вокруг его шеи, сжимали его сильнее и сильнее.

.

Он больше не дышал. Руки отпустили его.

— Всю жизнь... — простонала Агния Андреевна, опускаясь на колени около кровати.

Силы, взявшиеся неведомо как, оставили слабую женщину. Больное старое сердце не выдержало волнений дня.

Остановилось.

Яркий зигзаг прорезал синеву и осветил мирную спальню.

Мигнула красная лампадка, осветив строгий лик Девы в углу...

Загрохотал весенний, недовольный чем-то гром.

Благоуханная, благодатная весенняя ночь разразилась бешеной грозой...

МЕСТЬ

Это произошло так.

Прапорщик Иванов сидел в кондитерской и аппетитно снимал с кофе сбитые сливки, когда к соседнему столику подошел красивый мужчина лет сорока, громко отодвинул стул и подозвал кельнершу.

Прапорщик мельком взглянул на нового соседа и продолжал есть. Но, почувствовав, что на него смотрят, поднял глаза и встретился взглядом с незнакомцем. Тот пристально смотрел на прапорщика своими холодными серыми глазами.

Это внимание постороннего человека было прапорщику неприятно. Он провел рукой по волосам, потрогал пуговицы — кажется, все в порядке. Покосился в стенное зеркало. На него глянуло бесцветное, маловыразительное лицо.

Незнакомец продолжал фиксировать Иванова взглядом.
— Что ему нужно? — с досадой подумал прапорщик.

Знать его незнакомец не мог: Н-ский полк стоял в городе всего две недели и знакомств у Иванова пока не было.

Да он и не хотел ни с кем знакомиться: по странному капризу судьбы, Иванов был переведен в тот город, где жила его невеста, с которой он не виделся со дня призыва.

Теперь он каждую свободную минуту посвящал любимой девушке. Иванов ждал ее и сейчас.

— Какой, все-таки, неприятный господин...

Внезапно мысль о соседе отлетела куда-то в бесконечность, и по лицу прапорщика разлилось выражение молодой, светлой радости. В дверь входила хорошенькая шатенка в элегантном синем костюме.

Иванов вскочил навстречу невесте, и, быстрым движением, задел стул неприятного соседа, так что шляпа и палка упали на пол.

— Пардон! — сказал он, поднимая упавшие вещи.

Но господин поднялся с места и отчетливо произнес:

— Хам!

— Позвольте... ведь я же извинился? — оторопел Иванов.

— Хам и наглец! — громко, на всю публику, сказал господин.

Сидевшие за столиками стали оборачиваться. Кельнерши зашушукались. Хозяин завозился за прилавком. Девушка растерянно смотрела на жениха. Видно было, что она готова расплакаться.

— Я требую удовлетворения! — сказал шаблонную фразу, весь красный, Иванов.

Незнакомец бросил на стол свою карточку, на которой прапорщик прочел:

Сергей Петрович Синельников.
Гостиница «Париж», комната № 12.

Фамилия, как и лицо господина, были Иванову совершенно незнакомы.

Дуэль состоялась на другой день в заброшенном парке барона фон Д., в трех верстах от города. Барон не жил здесь уже восемь лет и парк стал давно любимым местом прогулок молодежи.

Теперь, осенью, там было пустынно.

Иванов со своим секундантом явился первым. Ходил по шуршавшему ковру вялой листвы, ежился от холода и думал о бессмысленности человеческой жизни.

«Ну, обругал меня какой-то посторонний человек, которого я и не видал никогда, а теперь еще, может быть, и убьет. Непременно убьет. Да за что же?»

Вольно бы — убили в бою — ну, там знаешь, за что рисковал жизнью... А тут... — Из- за какого-то слова... Что такое слово? Да разве стоят все слова мира одной человеческой жизни? Разве слово, само по себе, имеет какое-нибудь значение?

Ну, убьет меня... Может быть, так мне и надо. Ну, а другие-то за что страдать будут? — Мама, Таня...»

Воспоминание о далекой матери и любимой невесте наполнило душу прапорщика щемящей грустью. Кругом было тихо. Шелестели под ногами сухие желтые листья. Как нарисованные, стояли на фоне бледно-голубого неба полуогороженные березы, роняя при каждом движении отдельные листки. В парке царил осенний покой, но в этом покое не было смерти. Он говорил о вечности.

И так хотелось жить!

У ворот парка загремели колеса. Это подъехал со своим секундантом Синельников. Пока секунданты сговаривались и отмеряли шаги, противник курил, прислонившись к березе.

И в добродушном сердце Иванова вспыхнула вдруг глубочайшая ненависть к этому чужому человеку, одним выстрелом намеревавшемуся разрушить жизнь трех людей.

Прапорщику, как оскорбленной стороне, принадлежал первый выстрел.

Рука, направленная злобой, целилась метко: противник был убит наповал...

Скверно было на душе Иванова, когда он покидал парк.

«Ну вот, убил ни за что, ни про что чужого человека... А впрочем, не убей я его — сам лежал бы теперь убитым... Он, видимо, на это рассчитывал...»

Было гадко, беспокоила мысль, что ожидают неприятности по полку... Глупая история...

— Одну минутку, — окликнул его секундант Синельникова, выскакивая из пролетки, куда уложили убитого, — вот, он просил вам передать в случае его смерти.

Иванов с удивлением взял в руки объемистый пакет и спросил:

— Вы хорошо знали покойного? Он был что за человек?

— Мы познакомились с ним в вагоне. Ехали вместе от самого Петрограда. Остановились в одной гостинице. Я не считал себе вправе отказать ему. У него в городе нет нико-

го знакомых...

— Вы понимаете, я никогда не видел его до вчерашнего дня, — словно оправдывался Иванов, — он сам вызвал скандал. Я не знаю, что я ему сделал... Чужой мне совершенно...

— Может быть, вы найдете разгадку там, — ответил секунданта и приподнял, прощаясь, шляпу.

Поздно вечером — из парка надо же было заехать к Тане, не находившей места от волнения, — прапорщик вскрыл письмо.

«Дуэль — это лотерея, — начиналось оно, — никогда не скажешь наперед, кто будет в выигрыше...

Если я вас убью — я буду отомщен. Если ваша пуля прикончит мое существование, — я обязан дать вам отчет в моем странном, — на ваш взгляд, — поступке.

Я видел вас вчера с женщиной. Я наблюдал ваше лицо, когда вы бросились к ней: вы ее любите...

А если любите — то поймете меня.

Мы с вами не женщины, чтобы распространяться о чувствах.

Скажу одно: я любил, безумно любил. Правда, всю силу моего чувства понял я, когда ее не стало.

Вы не знаете меня. Но вы, наверное, слышали мою фамилию. Не ту, которую вы прочли на карточке. А ту, под которой меня знает вся Россия!

Я — Гальчинский. Да, тот самый тенор Гальчинский, об успехах которого кричат все газеты...

Я не знаю, правы ли критики, подлинно ли так велик мой талант. Но я чувствовал в себе искру Божию...

Талант и красота (многие находили, что я красив) привлекали ко мне с юношеских лет внимание прекрасного пола. Неудивительно, что я стал брать легкомысленно от жизни одни наслаждения, сделался тщеславен и себялюбив...

Я не считаю нужным рассказывать вам, как познако-

мился я с Верой. С этой женщиной вошла в мутную атмосферу моей жизни освежающая струя.

Я не считал сначала своего чувства серьезным. Но надоела пустая, бессодержательная и легкомысленная жизнь. Хотелось покоя, уюта, семейной атмосферы.

Я женился. Покоя я, правда, не нашел. Но зато нашел другое: глубокое, сильное чувство.

Детей у нас не было. Родился один мальчик, но не прожил и двух месяцев. Может быть, потому жена и была привязана ко мне такой исключительной привязанностью. Она окружала меня всякими заботами, удобствами, читала в моих глазах каждое желание. Но во всем этом было что-то рабское. И это начало меня, наконец, тяготить.

Ее любовь казалась мне тяжелым крестом.

Вера не могла остаться без меня ни минуты, она не ходила к тем, к кому не шел я, готова была отказаться от всякого удовольствия ради меня.

И безумно ревновала меня — не только к женщинам, — даже к моему искусству!

Я был, — как ни странно это звучит, — верен моей жене. Но женщины баловали меня, засыпали записками и цветами. Я пел тогда в Мариинском театре... И ведь почти из-за каждого букета, из-за каждой корзины цветов устраивала она мне сцену...

Я любил Веру искренне и горячо, но проявления ее любви стали так тяготить меня, что я начал искать одиночества.

Бывали периоды, когда мы встречались только за обедом и завтраком. Я знал, что она в зале каждый спектакль. Но приходить за кулисы я ей не разрешал. А сам часто уезжал ужинать с товарищами.

От природы я не жесток. И я был жестоким только с одним человеком — с женщиной, которую я любил больше всего на свете...

Когда я не был занят в опере, я проводил вечера дома. Но часто запирался в кабинете. И знал, — видел сквозь стену, — как Вера сидит в гостиной у камина, сжавши голову руками, и бессмысленно глядит в огонь.

Или лежит на диване и плачет.

Мне стоило только подойти к ней, ласково дотронуться до ее щеки — и она сразу бы успокоилась, почувствовала бы себя даже счастливой...

Но я не делал этого.

Сколько раз, видя ее заплаканные глаза, молившие: “Не уходи”, — я грубо говорил ей:

— Ты мне противна! Нашла бы себе любовника и отвязалась от меня!

И тогда она, покорно сносившая все мои оскорбления, хрипло отвечала:

— Ну и найду!.. Десять найду!..

Я улыбался про себя. Я был уверен, что для моей жены на всем свете существует только один мужчина.

И мужчина этот — я.

...Повторяю: несмотря на все, я любил ее, и был ей даже верен. И если я один раз изменил ей — пустая, мимолетная связь с хорошенькой хористкой, — то виновата только Вера: сама натолкнула меня своими вечными подозрениями.

Не стоит касаться этой истории, так неожиданно сильно повлиявшей на жену.

— Я тебе отомщу, — говорила она мне, и, чтобы привести в исполнение свою угрозу, завела двух поклонников. Устраивала так, чтобы я натыкался на них, возвращаясь с репетиции. Я отлично знал, что это — наивная и совершенно безобидная демонстрация, но все же, — сознаюсь, — в глубине души ревновал.

Тогда я начал впервые понимать свою жену с этой стороны — понимать весь ужас того “чудовища с зелеными глазами”, во власти которого находилась Вера. Стал к ней терпимее.

Шел пятый год нашей совместной жизни. Вера создала из своего чувства какой-то культ, молилась на меня, а я благосклонно позволял себя обожать, платя ей мимолет-

ными ласками, как комнатной собачонке...

И эта женщина, для которой не существовало на свете ничего, кроме меня, — эта женщина изменила мне с первым встречным.

Этим первым встречным были — вы.

Вы вряд ли вспомните, — разве остаются в памяти все мимолетные приключения, — как в Петрограде вы познакомились в кино с красивой блондинкой. Пошли ее провожать. Й, пользуясь ее растерянным состоянием, привели к себе...

Я долго думал, пытаюсь разъяснить себе, что могло толкнуть Веру на этот поступок. Мне тяжело писать об этом.

Пусть говорит она сама.

“...Ты дулся на меня опять целую неделю. Вечера, свободные от театра, ты проводил в обществе ненавистного мне Т. или в клубе.

Я каждый вечер надеялась, что ты вернешься раньше, но ты и из театра ездил куда-то и возвращался часто под утро.

Так было и в тот день. Я знала, что ты придешь не раньше трех часов. Холодно поцелуешь меня, когда я открою, скажешь ворчливо: — «Чего не ложишься» — и пройдешь к себе.

Я стояла у окна. По мокрым тротуарам шли люди. Я смотрела на них и думала о том, что у каждого есть своя особенная жизнь, свое счастье...

И никому на всем белом свете нету дела до меня!..

Вспомнила, как весело жила я до замужества.

Вечера, пикники, каток, поклонники...

Ты не танцуешь. Став твоей женой, я бросила балы. А я так люблю танцевать... Всю атмосферу бального зала...

Разве все это уже прошло? Разве я не могу больше нравиться?

Я зажгла свет. Посмотрела в зеркало. На меня взгляну-

ло хорошенькое, пожалуй, даже красивое лицо. Стройная фигура в прекрасно сшитом платье.

О, если бы я только захотела!..

Но я не хочу... Жизнь моя принадлежит ему.

А разве он ценит?

Пройдет лет пять-шесть — потухнет в нем остаток чувства, на смену придет привычка...

Молодость пройдет. Как сон — серый и скучный...

И в душе моей загорелась вдруг такая жажда жизни, так захотелось мне шума, блеска, света, музыки, разговоров, недоговоренных взглядов и слов.

Потянуло к людям.

Я оделась и вышла на улицу. Людской поток подхватил меня и понес.

Я зашла на огонек кино. Я так давно не была в людных местах, что от света, музыки и духоты у меня сделалось легкое головокружение.

Показывали какую-то современную драму. Муж обманывает жену, а та, после многих сцен ревности, убивает его и себя.

Игра артистки, совпавшая с моими недавними переживаниями, расстроила меня. Музыка волновала.

Хотела встать и уйти — но неловко было как-то во время действия. Рядом со мной сидел офицер. Я заметила, что он смотрит на меня. Его внимание сначала было мне неприятно. Офицер пытался заговорить со мной. Было ясно, что я ему нравлюсь.

Мне стало досадно.

«Вот, муж в клубе, и, вероятно, даже не вспомнит обо мне. А если я расскажу ему, как заинтересовался мной чужой офицер — снисходительно улыбнется. Он слишком уверен в своем обаянии».

Не знаю, откуда у меня явилась вдруг такая злоба против тебя... И этот задор, позволивший мне бросать кокетливые взгляды на соседа.

Музыка щекотала нервы. На рассудок легла пелена...

Хотелось беззаботного веселья, смеха... Всего, чего так давно не было в моей жизни...

Остальное все было сном.

Сном, от которого я проснулась только на пороге своего дома”.

Понимаете вы ее состояние, когда она вернулась домой?

Меня еще не было. Я вернулся из клуба позже обычного. Я не знаю, было ли это предчувствие — странное чувство охватило меня, когда открыла дверь не она, а прислуга.

Я ощутил потребность видеть Веру.

Пошел к ней. Она лежала с закрытыми глазами. Какое-то по-новому страдальческое выражение было на ее лице.

Непривычная нежность охватила меня. Я наклонился и поцеловал ее в лоб.

Я ждал благодарной улыбки, а увидел горькие слезы.

Она отговорила мигренью...

Я не считаю нужным давать вам дальнейшую часть исповеди моей жены. Но вы поймете, как она страдала!

У нее не хватало мужества сознаться мне во всем — может быть, потому, что я был необычайно нежен с ней. Это были для меня светлые дни безмятежного счастья, напоминавшие медовые месяцы. Для нее — дни, полные всех мучений ада...

Может быть, со временем она успокоилась бы, двойной нежностью искупила бы свою минутную вину, — но тут снова подвернулись вы.

Мы шли с женой по улице. Помню, что нам было беспричинно весело — мы смеялись каждому пустяку.

Вера шла впереди; я отстал, давая дорогу двум встречным дамам.

Какой-то офицер поравнялся с женой. И, радостно улыбаясь во все свое широкое лицо, окликнул ее:

— Верочка!

Жена смерила его взглядом с ног до головы и, быстро обернувшись ко мне, чтобы схватиться беспомощным жестом за мою руку, сказала:

— Вы... вы... кажется, ошиблись!..

Страшная бледность жены, ее растерянность и ваша глупая физиономия сказали мне все.

— Кто это? — грубо спросил я, схватив ее за руку.

— Я... не знаю... — лепетала она.

— Я догоню его и спрошу!..

Я рванулся за вами. Жена схватила меня за рукав.

Плакала, умоляла. Произошла дикая сцена. Мы забыли, что находимся на людной улице, что любопытно оглядываются на нас прохожие...

Не помню, как вырвал у нее признание.

Знаю, что оставил Веру плачущей на пороге какого-то дома, а сам ушел — без цели, без мысли...

Я не хотел тогда назвать свое чувство ревностью. Я просто считал себя оскорбленным в своем человеческом и мужском достоинстве.

Я мог бы простить Вере мимолетное увлечение, флирт в мое отсутствие — но такая пошлость!..

Для меня, человека с тонко развитым эстетическим чувством, нет в мире ничего отвратительней пошлости.

Я провел ночь в клубе. Мы много пили.

Когда я подходил к дому, в душе моей не было больше давешнего чувства гадливости к жене.

Вспоминались ее слова:

— Почему у тебя две разные мерки — ко мне и к себе?

Я шел к Вере грустный, но спокойный. Я хотел безмолвной лаской сказать ей, что простил.

И чувствовал, что с этой ночи исчезнет из нашей жизни все, что вызывало у нас распри и непонимание.

В эту ночь понял я, что такое муки ревности. В эту ночь

испытал я то, что годами испытывала близ меня моя Вера.

Я шел к ней и нес, как ветвь примирения, свою воскресшую любовь и свое раскаяние.

Но я опоздал — она не дождалась моего прощения...

Теперь вы понимаете, за что я ненавидел вас? Почему семь месяцев разыскивал вас, как сыщик!

Я вас нашел.

И пусть случай рассудит нас...

...Только когда она умерла, понял я, как дорога была мне эта женщина. Она не верила в мою любовь... И вот, я приношу ей в жертву все, что имею: свой талант и свою жизнь...

И если осталось у меня еще желание, это — чтобы судьба так же жестоко посмеялась над вами, как надо мной!

Тогда я буду отомщен...»

— Невиновен!

Громкий вздох облегчения пробежал по переполненному залу.

Симпатии всех, без исключения, были на стороне этого бледного молодого человека, героя напумевшего на всю Европу процесса.

Он стоял, беспомощно озираясь по сторонам, словно хотел кого-то благодарить, а в больших глазах его стоял немой вопрос:

— Неужели правда?

Улики были так велики, стечение обстоятельств так несчастно, что, казалось, не было в мире силы, могущей спасти его.

Но присяжные сказали:

— Невиновен!

Подсудимый все еще словно не соображал, кому он обязан спасением. Но те, там в зале, знали это, и не одна пара женских глаз с восторгом останавливалась на знаменитом адвокате.

Но Лукьянов глядел равнодушно на покидавшую зал публику. Только в красивых глазах его мелькал какой-то торжествующий огонек.

Взгляд его, скользивший по залу, задержался на секунду на изящной женской фигурке. Золотисто-рыжие волосы, легкими завитушками выбивавшиеся из-под черной шляпки. Большие голубые глаза, доверчиво искавшие его взгляда.

Но Лукьянов быстро отвел взор. И только еле уловимое недовольное движение его классически изогнутых бровей указывало, что робко-просительный взгляд был им замечен.

В комнате было полутемно. Электрическая лампочка, прикрытая перламутровой раковиной, слабо освещала часть

стены, бледное лицо, лежавшее на подушке и мягкую тигровую шкуру на полу.

Пахло одеколоном, валериановыми каплями и еще чем-то, сладким и душистым.

Когда Лукьянов вошел, больная поднялась и спросила:

— Ну, что? Я так волновалась.

— Оправдан! — небрежно бросил Лукьянов. И, нежно целуя руду больной, прибавил: — Как здоровье, Глаша?

— Лихорадки больше нет. Завтра встану. Так досадно, что я не могла быть на суде. Я так люблю тебя слушать...

Лукьянов подробно передал ей весь ход процесса. Привел отрывки из своей блестящей речи: знал, что Глаше доставит это удовольствие..

— Боже, как поздно! — воскликнул он внезапно, взглядывая на золотые часики, висевшие над ее кроватью, — тебе давно пора спать, да и мне надо на отдых!

Когда Лукьянов был уже на пороге, больная окликнула его:

— Костя!

— Что, дорогая?

— Пойди сюда на минутку. Я хочу рассказать тебе свой сон. Я видела его, собственно говоря, три дня назад. Но тебе все некогда было.

— Опять твои «вещие сны»? — засмеялся Лукьянов и присел на край кровати. — Ну, я слушаю.

— Я очень хорошо помню его... Такой живой... Вижу, будто зашла за тобою в суд. Идем по коридору. Ты только что хочешь взять меня под руку, — смотрю, — между нами стоит какая-то женщина. Ни лица, ни фигуры разглядеть я не могла. Вся, как тень... Заметила только одно: волосы. Ярко-рыжие. С золотым отливом.

По лицу Лукьянова промелькнуло выражение удивления. Он пытливо взглянул на Глафиру Семеновну. Но та, не заметив взгляда, продолжала смотреть куда-то вдаль.

— Я говорю тебе: «Костя»! А она берет тебя под руку. Я снова окликаю тебя. А ты оборачиваешься и холодно говоришь: «Я должен идти с ней». И лицо у тебя такое чужое...

Потом вы оба исчезли. Я только слышу, как смеется

она издали. Такой неприятный, неискренний смех...

И я одна. И в коридоре так темно. И мне жутко. Ужасно жутко...

И вдруг — звезда... Ведь знаю, что в коридоре — а звезда.

— Ну, а дальше? — нетерпеливо перебил Лукьянов.

— Дальше не помню... Но когда проснулась — было ужасно грустно... Больно... И целый день оставалось это чувство... Тебя ведь я третьего дня не видела... Звезды — это, говорят, к страданию...

— Ах ты, «гадатель, толкователь снов»! — засмеялся Лукьянов.

Но смех его звучал немного деланно.

— Значит, соль твоего сна — рыжая женщина? — Лукьянов пытливо заглянул ей в глаза. Но она ответила таким чистым, любящим взглядом, что все его подозрения разом рассеялись.

«Она ничего не знает... Но откуда у женщин эти предчувствия?..»

Лукьянов возвращался домой с двоящимися чувствами.

Почти совсем слетело с него торжествующее настроение, в котором он час тому назад спешил к своей Глаше.

Сначала Лукьянов думал о ней, вспоминая весь разговор.

Он очень любил разбираться в своем чувстве к этой женщине, стараясь найти, почему эта любовь не похожа на все его прежние увлечения. Но это была безнадежная задача, и в уме его не было решающей формулы.

Было такое теплое, не поддающееся анализу чувство, теплое и радостное, как майский день.

Лукьянов думал о том, как долго затянулся, несмотря на все его хлопоты, бракоразводный процесс, который должен освободить его Глашу. Ведь муж ее был уже третий год в

психиатрической лечебнице, в отделении для неизлечимо больных.

Потом, безо всякой внешней связи, мысли его перескочили на Глашин сон.

«Нет, она не знает ничего!» — решил Лукьянов.

Да что, в сущности, могла знать Глафира Семеновна про Аду?

Совесть Лукьянова была действительно чиста. Познакомился он с Адой случайно, в трамвае. После встретились раза два — опять-таки случайно, — на улице. Ну, а потом... Потом начинается эта непонятная история.

Он видит Аду в зале суда. Он встречает ее у выхода, возвращаясь после заседания. Он сталкивается с нею у своего дома. Получает чуть ли не ежедневно таинственные записочки. Полные туманных слов, еле замаскированных признаний.

Лукьянова, избалованного женским вниманием, интересовала эта история только новизной. Нравилось смущение Ады при встрече, ее просительный взгляд. Забавляла разница между письмами и словами — словно две совсем разные женщины.

Но теперь, когда Глаша рассказала ему свой сон, Лукьянову стало неприятно.

«Глаша такая хрупкая, нежная... Беречь ее надо...

Если она невзначай увидит Аду, — ей станет очень больно...

Надо как-нибудь предупредить, сказать».

Но добрые намерения Лукьянова так и остались одними намерениями.

— Я вовсе не смеюсь над тобой, Ада, хотя над этим стоило бы смеяться. Я всегда была снисходительна к твоим фантазиям, но это переходит уже все границы. Девице девятнадцатый год, а дурит, как пятнадцатилетняя.

— Оставь меня. Я жалею, что сказала тебе!

— О себе жалею. О собственной глупости. Ведь он смеется над тобой!

— Никогда!

Ада тряхнула золотистыми волосами.

— Сама же говоришь, что он не любит тебя.

— Нет...

— Ну, вот видишь... Все эти избалованные господа — знаменитые адвокаты, артисты — любят кружить головы девчонкам вроде тебя... А сами смеются... Будь он порядочным человеком, он давно отучил бы тебя от этих поджиданий на углах...

— Он не может же знать, что я его жду... Он думает: встречи случайны.

— Ах, какая наивность!..

— Ну и оставь меня в покое!..

Как жалела Ада, что в минуту глупой откровенности призналась сестре! Зина ведь старая дева... Она не понимает... Ада привыкла делиться с сестрой всем... У нее нет близких подруг. Здесь, в Петрограде... Призналась сестре. Правда, не во всем... Но во многом...

Ах, ведь в целом мире нет для нее ничего, кроме этого властного, красивого голоса, этих глаз!..

Ах, эти глаза!..

Как часто казалось Аде, что взгляд их останавливается на ней с выражением глубокой нежности.

На письма он не отвечал. При редких встречах голос его был всегда равнодушен. Рукопожатие холодное...

Но иногда, иногда... Этот ласкающий взгляд, будивший все надежды!

Разве могла знать Ада, что таким взглядом смотрит Лукьянов на десятки других женщин, на всех женщин вообще?

Это случилось ужасно просто, как и случаются все подобные истории. Глафира Семеновна зашла к Лукьянову. Его

не было дома. На столе увидела она розовый конвертик, надписанный женским почерком. Не удержалась, вскрыла.

«...Я так хочу видеть тебя... Я так соскучилась по тебе в четырех стенах...»

Все в таком же роде.

И подпись «Ада»...

Первая сцена ревности за два года любви, первая тяжелая сцена...

Лукиянов пробовал было сначала отрицать, но махнул рукой и сказал всю правду. Она не верила. Он сердился.

— Какие у нее волосы?

— Золотистые...

— Рыжие, как я видела во сне?.. Я же знала, что этот сон не к добру...

Глафира Семеновна была целую неделю снова больна.

А он мучился упреками совести.

— Ты страшно изменилась, Ада, стала просто несносной. Серьезно, тебя словно подменили за эти два года, пока меня не было здесь.

— Какая была, такая и осталась...

Ада быстро пробежала пальцами по клавишам рояля.

— Нет, ты стала другой, — грустно сказал офицер. — Не такой представлял я себе тебя, лежа в окопах. Ты просто не любишь меня больше, Ада, — закончил он грустно.

— А разве я говорила тебе когда-нибудь, что люблю? — с прежней резкостью ответила девушка.

Офицер не ответил, кусая губы.

Ада обернулась, и, увидя выражение его лица, громко расхохоталась.

— Ну-ну, Борька! — сказала она примирительно. — Ведь и ты вовсе не любишь меня. Наши маменьки решили, что мы должны пожениться, — а нас-то и не спросили!

— Ты не говорила так раньше, Ада.

Ада посмотрела на него внимательно. Потом отверну-

лась снова к роялю.

Звуки шопеновской мазурки огласили комнату.

В душе Глафиры Семеновны остались все же сомнения, и отогнать их окончательно она не могла.

Ею овладело непреодолимое желание увидеть эту таинственную Аду, о существовании которой она узнала впервые из своего сна.

Она всматривалась на улице в лицо каждой женщины с рыжими волосами. Она выходила на улицу с единственной целью встретить ее.

«Я узнаю ее», — говорила себе Глафира Семеновна, и желание увидеть соперницу превратилось у нее в какую-то *idée fixe*.

Но с Лукьяновым про Аду она больше не говорила.

«...Ты знаешь, что я люблю тебя и не могу без тебя жить...

Но ты так жесток ко мне, так холоден...

Вряд ли кто полюбит тебя так, как я... О, я знаю, ты пожалеешь, и еще как, что не оценил моей любви!...

Хорошо, я знаю, что делать. У меня есть человек, который безумно любит меня. Умоляет, чтобы я стала его женой!

И я соглашусь.

Прощай!..

Смотри, не пожалей, что толкнул меня на этот шаг...

Ада.

Р. С. Скажи слово — и я оставлю все, и уйду за тобой на край света...»

И на это письмо ответа не было...

Предстоял снова запутанный процесс. Лукьянов, утомленный днем работы, поехал вечером к своей подзащитной.

Глафира Семеновна была опять не совсем здорова. День провела она в постели, но к вечеру встала и решила поехать к Лукьянову.

Для нее не было тайной, что этот, такой уравновешенный на вид человек очень волнуется перед каждым процессом, и, уйдя с головой в работу, способен не есть, не пить два-три дня.

Глафира Семеновна решила позаботиться об его ужине. Возилась на кухне, гоняла прислугу в магазины и лихорадочно прислушивалась к каждому звуку, ожидая звонка.

Лукьянов долго не приходил. Глафиру Семеновну лихорадило.

«Не надо было выходить сегодня», — думала она.

Проходя мимо, бросила быстрый взгляд в зеркало.

«Фу, какая я сегодня неинтересная...» — досадливо подумала она.

Температура поднялась. Сильно разболелась голова. Пришлось послать прислугу в аптеку за порошком.

Позвонили.

Полная радостного чувства, рванулась она к двери. Открыла.

Перед Глашей стояла девушка в белой меховой шапочке, из-под которой выбивались пряди рыжих волос.

Глафира Семеновна поняла, что мечта ее исполнилась: перед ней стояла Ада.

На минутку в душе промелькнуло гадкое подозрение:

«Вот почему он прислал записку, что не будет у меня сегодня!»

Несколько секунд обе смотрели друг на друга.

— Господин Лукьянов дома? — рискнула наконец спросить Ада.

— Нет, но он сейчас вернется. Вы можете подождать...

Глафира Семеновна боялась, что Ада уйдет. Но та, после минутного колебания, переступила порог.

Глаша указала на дверь гостиной, но девушка, не заметив ее жеста, вошла в кабинет.

«Значит, уже бывала здесь!» — враждебно подумала Глафира Семеновна.

И мысль эта вызвала какую-то, почти физическую, боль в ее сердце.

Прошло минут двадцать. Но обеим женщинам — в столовой и в кабинете — казалось, что прошло несколько часов.

У соседей играли гаммы. Настойчиво тикали часы. Глафира Семеновна ходила по комнате и с досадой думала — чисто по-женски:

«И надо же ей было увидеть меня сегодня, когда у меня болит голова, когда я так неинтересна и одета не к лицу!..»

Она поехала к Лукьянову, как сидела дома — не передеваясь.

Наконец, раздался долгожданный звонок. Пройдя в переднюю, Глафира Семеновна сквозь приотворенную дверь видела, как насторожилась Ада.

— Глаша — вот сюрприз! — с непритворной радостью произнес Лукьянов.

Но Глафира Семеновна быстро вырвала свою руку.

— Тебя ждут с нетерпением.

— Ждет? Кто же?

— Твоя Ада...

— Ну что же... Желаю вам от души счастья... — сказал Лукьянов, нервно вертя перламутровую ручку и почти не глядя на сидевшую перед ним девушку.

«Неужели она не понимает, что она лишняя!» — думал он. Усталому, ему хотелось покоя, хотелось есть. А тут еще перспектива сцены с Глашей...

А мог быть какой уютный вечер!...

Он почти ненавидел сейчас сидевшую перед ним девушку.

Но она не понимала или не хотела понимать, — как бывало всегда, когда она приходила к нему...

Первый раз попала Ада сюда случайно.

Занесла сама письмо и бросила в ящик у двери, но в эту минуту Лукьянов как раз вернулся домой.

— Вы ко мне? — удивился он.

— Я... да... нет...

Девушка смутилась.

Постояли несколько минут на лестнице. Обоим было неловко. Разговор не клеился. Нехотя Лукьянов сказал:

— Зайдите.

Сказал, потому что чувствовал: девушка ждет этого.

Ада вошла. Сидела с полчала. Говорила о пустяках. Смотрела ему в глаза, стараясь уловить то знакомое, ласкающее выражение.

С того самого вечера она стала заходить — под разными предлогами... Но, по какой-то странной случайности, ни разу не наткнулась, — как ни боялся этого Лукьянов — на Глашу.

— Итак, вы будете у меня... на свадьбе? — приподнимаясь, спросила Ада.

— Я не обещаю, Ада, но постараюсь быть.

Они вышли в переднюю. Дверь в столовую была открыта. На пороге, прислонившись к косяку, стояла Глаша. Увидя их, она быстро захлопнула дверь.

— Это ваша... любовь?... — насмешливо спросила Ада, намеренно долго возясь с меховыми ботами.

— Да, — в тон ей ответил Лукьянов.

— Удивляюсь вашему вкусу... Старая и неинтересная...

Он пожал плечами. По губам мелькнула усмешка.

— Прощайте, — глухо сказала Ада уже с порога, и взгляд ее ушел глубоко в бездну его глаз.

Но не прочел в них ответа...

Собирались в оперу.

Глаша должна была заехать за ним — ей по дороге. Лукьянов стоял у окна, давно одетый, и ждал.

Подъехал извозчик. Мелькнуло знакомое лицо. Чтобы не заставлять Глашу подниматься по лестнице, он быстро вышел в сени — и наткнулся на женскую фигурку, стоявшую у дверей в раздумье: звонить или нет.

— Ада!

Это прозвучало почти раздраженно. Мелькнула мысль, что Глаша уже, наверное, поднимается по лестнице...

Вчера вечером было так хорошо. Казалось, что черная тень, ставшая между ними с появлением Ады, начинала окончательно таять. А тут опять...

— Вы уходите?

— Да, я тороплюсь. Вы что-нибудь хотели?

На лестнице уже слышались шаги.

— Да я.... ведь послезавтра моя свадьба...

— Послезавтра я не могу... Заседание юридического бюро...

— Может быть, после заседания?

— Вряд ли...

Шаги совсем близко...

— Но я вас так прошу!...

Шаги затихли: Глаша увидела Аду...

— Простите, я тороплюсь.

И, пожав небрежно маленькую ручку, Лукьянов сбежал три ступеньки, отделявшие его от Глаши....

Заседание затянулось очень долго. Лукьянов был секретарем и не мог уйти раньше самого конца, хотя и знал, что Глаша ждет.

Лукьянов сознавал, что каждая минута промедления будит новые подозрения в Глашиной душе. И ему было больно.

Был второй час ночи, когда стали расходиться.

— Приеду обязательно, как бы поздно ни кончилось заседание, — сказал вчера Лукьянов.

Глафира Семеновна ждала его с одиннадцати часов. К половине двенадцатого приготовила ужин.. Но пробило двенадцать, половина первого... час.

Его все еще не было...

Читать не могла. Опять знобило. Начинался легкий бред.

Женщина с рыжими волосами...

Ада и Костя, Костя и Ада — оба эти образа переплетались в причудливых сочетаниях.

Наконец, из хаоса выплыла определенная картина.

Небольшая комната с голубыми обоями. На столе — электрическая лампа с зеленым колокольчиком. Перед ней — ярко освещенная фигура.

Побежали от зеленого абажура зеленоватые тени по лицу. Растрепались рыжие волосы. В руке — высокий стакан. Как дрожит эта тонкая рука... Глаза закрыты. Но Глафира Семеновна чувствует выражение этих глаз, полных безысходной тоски...

«Ада!» — хочет крикнуть Глаша, — но с губ ее срывается только: «а... а... а...»

— Что с тобой?

Над ней наклоняется озабоченное лицо Лукьянова.

— Где Ада?

— Опять ты думала о ней?... Ты же обещала!..

— Я видела ее сейчас... во сне... — добавляет она на вопросительный взгляд Лукьянова. — А ты... ты видел ее сегодня?

— Я получил опять письмо. Ты ведь знаешь: завтра ее свадьба... Звала. Я отговорился заседанием... Почему она знает, что оно сегодня, а не завтра?

— Что она пишет?

Лукьянов колебался с минуту, потом достал и подал Глаше розовый конвертик. Она еле разобрала набросанные неразборчиво карандашом слова.

«Я знаю, что это — безумие... Но я люблю тебя и не могу рассуждать... Ты оскорбляешь меня, а я тебя люблю...

Завтра, ты знаешь, моя свадьба.
Тебе это все равно.
Неужели не понимаешь, что толкаешь меня на гибель?
Я люблю тебя. Я согласна для тебя на всякую жертву.
Напиши мне слово — я брошу все и приду к тебе...
Не отталкивай меня...
Я жду ответа — последнего ответа...

Ада».

— Ну, и что ты ответил? — странным тоном спросила Глаша.

— Я сказал посыльному: «Ответа не будет»...

Он наклонился и молча поцеловал смотревшие на него печальные глаза.

И в этом поцелуе прочла Глаша ответ на вопрос, давно мучивший ее душу...

«Ответа не будет...»

Она опустила голову и пошла медленно по улице.

Шел мелкий, липкий снег.

«Ответа не будет...»

Да на что еще надеялась она, какого ответа могла ожидать? Как будто бы все не ясно и так!...

Тяжелый камень давил сердце. Будущее рисовалось похожим на этот зимний серый вечер.

Пришла домой. Разделась. Села на диван.

Часы, минуты — все слилось в какой-то круг, из которого ясно выступало одно:

«Ответа не будет...»

И еще беспокоило что-то... Так смутно, смутно...

Но внезапно это «что-то» прорвало туман и крикнуло ей:

— Завтра!

Да, завтра — ее свадьба с Борей...

Ада жестко усмехнулась. Этот шаг, который еще вчера рисовался ей заманчивой картиной мести — сегодня казался глупым, необдуманным, непоправимым...

Разве непоправимым?

Ада зажгла лампочку. Зеленоватый свет скользнул из-под абажура по голубым обоям, заиграл на золотистых волосах.

— Здесь!

Девушка достала из маленькой коробочки конвертик с белым порошком. Долго смотрела на мелкие, как песок, кристаллики... Рука потянулась к стакану... Золотистой волной упали на плечи длинные волосы...

И, смеясь над последними колебаниями девушки, стучала и гремела в мозгу неотвязная мысль:

«Ответа не будет...»

МАСКА

— Маска, я тебя знаю!

— Неужели? Ну-ка, подойди ближе!

Стройная фигура, с ног до головы закутанная в черное покрывало, расшитое золотыми звездами, повернулась перед ним на каблуках.

— Смотри!

— Не узнаю...

— И не узнаешь! А ты со мною хорошо знаком!

— Я думаю — ты ошибаешься. Принимаешь меня за другого. Никто не знает, что я вернулся в Париж,

— Да, все думают, что ты еще в Бордо. Ты вернулся неожиданно восьмичасовым поездом. Сказать тебе твое имя? Тебя зовут Жюльен де....

— Не надо, не надо! Я верю, что ты меня знаешь! Но кто мог сказать тебе о моем возвращении? Никто не видал меня на лестнице. Даже слуги не было дома.

— Когда ты подъехал, консьержа не было у ворот. Тебе пришлось самому внести наверх свой чемоданчик. Слуги тоже не было дома. Ты первым делом выпил стакан вина и выкурил сигару. Тебе было холодно. Ты попробовал растопить камин. Но дрова были сырые, и ты сердился. Потом ты лег на кушетку, вынул газету. Из нее ты узнал о маскараде и решил поехать, так как подозревал, что застанешь тут одну даму.

— Однако, маска, ты, кажется, осведомлена даже о моих сердечных делах?

Маска утвердительно кивнула головой.

— Дама, которую ты хотел встретить здесь, маленького роста. Белокурые волосы. Красивые глаза. У нее есть прелестный темно-красный костюм, отделанный белым мехом. Она замужем за капитаном, который второй год в отъезде. Ее зовут...

— Довольно! — прервал, весь вспыхнув, Жюльен. — Вы, оказывается, систематически шпионили за мной, проникали в мое отсутствие в мою квартиру. Но с сыщиками, шпио-

нами и тому подобными личностями знакомств, хотя бы и маскарадных, я не завожу...

— Не надо сердиться! — мягко сказала она, загораживая ему дорогу. — В квартире твоей я никогда не была и никогда за тобой не шпионила...

— Кто же ты, и откуда ты все знаешь?

Жюльен успокоился так же быстро, как и вспылil.

— Разве ты не видишь? Я — Ночь, звездная ночь, которая все видит, но не выдает своих тайн.

— Ты все знаешь... Может быть, ты знаешь, почему Сюз... Почему эта дама, ради которой я здесь, не приехала сюда?.. Она уже месяц назад радовалась этому маскараду.

— Ты хочешь сказать: «Сюзанна»? Она сейчас дома. И не одна!...

— Молчи! — рассердился снова Жюльен. — Ты заходишь слишком далеко!

— Могу замолчать. Могу даже уйти, если ты этого хочешь!

Ночь повернулась, чтобы идти. Жюльен схватил ее за руку.

— Не уходи... а говори... все, что знаешь!...

— Ты давно подозреваешь, что Сюзанна обманывает тебя. И даже знаешь, кто твой соперник. Его фамилия начинается с буквы Д.

— И ты утверждаешь, что он сейчас у Сюзанны?

— Да.

— Кто бы ты ни была, и каковы бы ни были твои мотивы — благодарю тебя, маска! Я сейчас поеду к ней: Я...

— Напрасно... Ведь ты знаешь, что, пока ты будешь звонить у парадных дверей, соперник твой уйдет через ту дверцу, за шкафом... в ее гардеробной...

— Но у меня есть ключ от этой двери!

— Ну так что же? Когда тебя не ждут — дверь заставлена шкафом...

— Да, я забыл об этом... Но кто ты?... Откуда ты все это знаешь?

— Я — Ночь...

— Довольно комедий! И вообще, я не верю ни единому

твоему слову!...

— Мне жаль тебя... Но я должна кончить, что начала. Вот записка, которую Сюзанна писала сегодня утром виконту Д. Ты ведь ее почерк знаешь?

Жюльен быстро пробежал записку. Хотел разорвать. Но передумал и сунул в карман.

Ночь молчала. По зале носились, в волнующих звуках вальса, пары. Раздавался женский смех и визг арлекинов.

— Ты ее очень любишь? — тихо-тихо спросила она.

Жюльен не ответил.

— Не думай сейчас о ней... Забудь — на сегодня — и свою к ней любовь, и свое горе... Посмотри на эту толпу. Неужели, думаешь, они так беззаботны, как кажутся? Неужели не осталось у них дома и тоски, и страданий, и ревности? Но это все оставили они дома. А сюда принесли только веселый смех! Здесь — царство смеха, безумия и забвенья!...

— Ты права, — мрачно сказал Жюльен, — безумья и забвенья!...

И, взяв маску под руку, повел ее вниз.

Внизу, в буфете, было душно, шумно, накурено, весело. В сизых облаках табачного дыма мелькали пестрые коломбины, цветы, домино, русалки и цыганки. Растрепавшиеся волосы, обнаженные руки. Яркие искривленные блески костюмов.

Жюльен выпил залпом два бокала и задумался. Легкая ручка легла ему на плечо.

— Не надо думать сегодня! — сказала Ночь.

— Ты не пьешь ничего? — заметил Жюльен. — Иди сюда, ближе, чокнемся и выпьем за наше знакомство! Ты так хорошо осведомлена о моей жизни. А между тем, твой голос мне совершенно незнаком.

— Однако, скоро же забываешь ты тех, кому клялся в вечной любви!

— Я вообще никогда не даю женщинам никаких обеща-

ний. Ну, и давно это было?

— Какое значение имеют для любви года? Не все ли равно, десять дней или десять лет прошло с того момента?

— Очень благодарен тебе за постоянство. Но, при всем желании, вспомнить тебя не могу. И пальчики эти мне совсем незнакомы... Ну, напости мне что-нибудь о нашей любви.

Жюльен притянул слегка сопротивлявшуюся Ночь к себе.

— Я расскажу тебе о нашей первой встрече. Это было на балу. Как и сейчас, звучала музыка, носились веселые пары. Только это было не зимой, а весной. Последний бал в сезоне.

Бледный рассвет спорил с блеском электричества. Мы сидели близко от окна. Ты говорил, что в глазах моих отражается рассветное небо...

— Бал весной... рассвет... — припоминал Жюльен. — Луиз?... Нет, Луиз была меньше ростом, и у нее были такие пухлые лапки.

Ночь засмеялась.

— О, нет, я не Луиз!... Ну, хорошо. Напости тебе ночь, когда я стала твоей....

Ночь понизила голос до шепота.

— Была гроза. Страшные раскаты грома. Лиловые молнии освещали комнату. Я боялась грозы, но тебя боялась еще больше. Я боялась твоих ласк — и жаждала их...

— Неужели это ты, Ирен?

— Нет, я не Ирен... Неужели ты забыл эти клятвы, эти ласки, эти ночи?..

Было одно утро после бала. На мне было новое платье из зеленого газа. С серебром... Ты никак не мог расстегнуть — и разорвал его... Помнишь, как мы смеялись потом — во всей квартире у тебя мы не могли отыскать булавок....

— Так, значит, ты — Аннет? Нет, у тебя смех — серебряный, а у Аннет был такой резкий...

— Нет, вижу, ты совсем забыл меня!... У тебя, наверное, было так много романов. Неужели они все так похожи один на другой?

Ну, сознайся, сколько романов было у тебя? Ну, приблизительно! Триста? Пятьсот? Семьсот? Тысяча?

Ночь, прижимаясь к нему, пыталась заглянуть ему в глаза, блестевшие сквозь дырочки красной маски. В огненном костюме Мефистофеля был сегодня Жюльен.

— Нет, вряд ли больше, чем... Впрочем, я ведь списка не составлял...

— И ты так скоро забываешь?

— Я удивляюсь, как я мог забыть тебя. Ты мне очень нравишься...

— Ну, а тебя не интересует число моих любовников?

— Сколько их было у тебя? Ну, не больше ста. Ты еще слишком молода — это чувствуется...

— Меньше, меньше! ..

— Пятьдесят? Двадцать пять? Дюжина? Полдюжины? Неужели еще меньше? Это уже совсем неприлично. Три? Два? Неужели только два?

Она снова засмеялась и, обняв его за шею, шепнула на ухо:

— Один... только один... И один этот — ты!

— Сознаюсь, у меня было немало маскарадных интриг, но такой случай со мной впервые. Чужая, совершенно незнакомая мне девушка — невинная девушка — выдает себя за мою бывшую любовницу, позволяет обращаться с ней, как с первой встречной маской. К чему эта комедия, этот обман?

— Люблю тебя! — сказала она.

— Неужели у тебя не было другого способа познакомиться со мной?

— Нет.

— Скажи, — в голосе Жюльена послышалось подозрение, — может быть, и это ты выдумала, про Сюзанну?

— Ты же видел записку!... Ты знаешь ее почерк... Ну, не вспоминай сейчас ее, не надо!...

- Но скажи, что привело тебя ко мне сегодня? Кто ты?
— Ты узнаешь все.

«И еще до лучей золотого рассвета
Выдаст тайну великую ночь...»

- Это — мои стихи.
— Я знаю их наизусть. Все... все... Почему ты так давно не писал?

— Скучно... Нету захватывающих тем... Все старо...

— Хочешь, — я дам тебе тему для рассказа или поэмы. Я расскажу просто, как умею. А ты отделаешь и напишешь. Хорошо? Обещай мне, что напишешь!

— Обещаю...

— Как начать? Ну, попробую так, как начинала моя старая бабушка: «Жил-был»...

Ну вот, жил-был один поэт. Он был талантлив, молод, красив. Избалованный женщинами, он рано разочаровался в них. Многие любили его, но ни одна не могла понять его, проникнуть в его душу...

Поэтому он скоро уходил от них. И любил только свои стихи. Потому что это была часть его души... Его красивой, страдающей души, прикрытой от света непроницаемой маской.

Никто не знал, что таилось за ней.

И только одна девушка поняла его душу, отыскала ее между рифмованных строк его творений...

Поняла — и полюбила.

Но он был богат и славен. Она — незаметна и бедна.

Однажды, в короткий миг отдыха между часами тяжелого труда, попалась ей в руки книга того поэта. С тех пор она не хотела читать ничего другого.

Она учила его стихи наизусть. Она напевала их за работой. Она твердила их во сне. Читала вместо молитвы...

Девушка узнала, где жил поэт. Переехала на ту же улицу.

Случай захотел, чтобы от нее были видны окна двух его комнат. И вот она стала проводить у окна каждую свободную минуту своей трудовой жизни.

Иногда, просыпаясь по ночам, она видела у поэта свет. Видела, как сидит он за своим столом.

И тогда знала, что он создает эти чудные, звучные рифмы...

Сначала девушка хотела, чтобы поэт обратил на нее внимание, встречая на улице. Но разве он мог ее понять?

А он должен был понять ее, как поняла его душу она!...

...Как больно было ей, когда она увидела у него первую женщину. Много их приходило к нему потом. Но она знала, что ни одна из этих женщин не любила поэта... Потом стала приходиться новая. Одна и та же. Она узнала имя этой дамы. Та была ее заказчицей — девушка была модисткой... Болтливая горничная рассказала ей все: и про дверцу, и про свидания... Девушка знала, что поэт очень любит ту женщину... И страдала глубоко.

Как больно бывало ей, когда счастливая соперница приходила к поэту. Когда она бывала невольной свидетельницей их ласк. Никогда не завешивал окон поэт...

Она бросала работу, зарывалась с головой в подушку, и мечтала. До боли мечтала, что это она — с поэтом, что это ее ласкает он, создает для нее свои слова и строфы.

И, чем ярче становились сны, тем больше верила она своим мечтам, тем чаще мешала с действительностью.

И скоро мечты ее стали жизнью, а жизнь, трудовая и серая, стала казаться нудным и скучным сном...

И когда она узнала, что любимая им женщина безбожно обманывает поэта, — ей стало так его жаль... так обидно за его красивую любовь...

О, что бы дала она за то, лишь бы иметь право прийти к нему, приласкать, сказать:

— Зачем ты ищешь любви там, где ее нет? Зачем разбрасываешь попусту золото своей души и своей мысли? Вот где любовь! Любовь бескорыстная, искренняя, чистая...

И она решила добиться его любви...

Отдать ему все: и душу, давно жившую только им, и чистое, девственное тело...

Пусть это будет миг — только миг... Но воспоминаниями о нем осветится вся жизнь... До могилы...

И она добилаь своей цели.

— Она добилаь, — как эхо повторил Жюльен. — Ну, а дальше?

— Дальше? Конец придумай сам, на то ты и писатель!..

Загадочная улыбка промелькнула по лицу Ночи.

— Она добилаь своего. Добилаь того, что он оценил ее дивную душу, оценил с первой же встречи... И полюбил ее... Полюбил совсем новой, светлой любовью.

Жюльен не закончил фразы и приник губами к ее плечу в новом порыве страсти.

— Милый, — прошептала она, — как бы хотела я верить в силу твоей любви!.. Но она растает с первыми лучами зари.

Февральское солнце играло на узорах обоев, когда Жюльен открыл глаза.

Зажмурился. Сладко потянулся в постели.

В ушах звучала еще музыка. В голове мелькали обрывки воспоминаний.

Таинственная маска... Красивое лицо с такими жгучими глазами.

Романтическая история про швейку из соседнего дома. Измена Сюзанны...

Жюльен проснулся окончательно.

— Пустяки! — решил он. — И как я мог вчера придать этому значение? Сейчас оденусь и поеду к Сюзанне. Конечно, это какое-нибудь недоразумение.

Но к Сюзанне как-то сейчас не тянуло. Образ с жгучими глазами не исчезал из памяти.

— Нельзя придавать значения всякой маскарадной интриге, — выбранил себя Жюльен и позвонил слуге.

Когда потянулся к звонку, задел за что-то рукой. Это была черная шелковая маска, забытая на подушке... Взял маску в руки... И снова наплыли воспоминания только что пережитого...

И хорошее, светлое чувство, то самое, что посещало его в минуты творчества, охватило Жюльена.

Что-то красивое, новое, ясное, казалось, вступало в его жизнь. Ясное и яркое, как это солнце, заливавшее комнату...

Жюльен снова позвонил слуге. Еще и еще. Только после третьего звонка появился он в спальне.

— Виноват, сударь, — сказал слуга, — вы изволили долго звонить? Я был на улице. Там несчастье случилось.

— Что такое? — рассеянно спросил Жюльен, закуривая папиросу.

— Одну барышню автомобилем переехало: сама бросилась. Такая молоденькая, красивая. Верно, с маскарада возвращалась — в маскарадном костюме... Прямо насмерть... Такая молоденькая... Консьерж говорит: портниха из соседнего дома... Прикажете умываться, сударь?

— Да, да, — односложно ответил Жюльен и нервно сжал в руке черную шелковую маску....

МОЛЧАТ ПЕСКИ

Молчат пески...

Голубое летнее небо расстилается над их необъятным простором и нет нигде тени под голубым шатром.

Жарко, жарко...

Зной идет и от прозрачно-синего неба, и от белых рассыпчатых песков. Жарко голове, жарко ногам.

Ничего живого. Ни комара, ни стрекозы, ни докучливых мух. Только убегающие вдаль телеграфные столбы с тонкими гудящими проводами кажутся живыми.

Молчат пески.

Бесконечно тянутся они от севера к югу, то холмистые, то ровные, и только с запада и востока одевает их черный сосновый лес.

В лесу — жизнь. Сотни стрекоз, изумрудных, синих, желтых, с жужжанием поднимаются из травы. Во мху кишат бесчисленные насекомые. Лоснящиеся лягушки перепрыгивают смешно с кочки на кочку. Прячась в ветвях, зорко высматривают свою добычу разнообразные птицы.

А вот и люди. Их двое. Оба — молодые, радостные, — выходят из дышащего смолой леса на мертвые пески.

— Не понимаю тебя, Люся. Здесь такой чудесный лес, море, — а ты всегда стремишься на эти пески. Ну, что тут хорошего? Жарко, пыльно, тоскливо, однообразно...

— Я не знаю, Витя...

Люся смотрит вдаль, и серые обычно глаза ее, отражая небо, кажутся сейчас голубыми.

— Я не знаю... Я люблю бродить вечером у моря. Оно рассказывает что-то, Витя... Люблю слушать, что говорит лес. Но если я выйду, задумавшись, из дому, я всегда попаду на эти пески. Я не люблю их, я их боюсь... Но меня тянет сюда неудержимо...

Сейчас ясно, сейчас тихо. А вот в пасмурный день, когда небо серое, когда накрапывает дождь, налетает ветер... Небо сизое... Лес темный и жуткий... Тогда пески говорят... О чем — не знаю. Но что-то жуткое, жуткое...

И я иду слушать их...

Над песками вставала луна. Большая, красная, плоская.

Она медленно поднималась над черным кустарником на дюнах, становилась из красной оранжево-желтой. Потом приняла свой обычный мертвенный цвет. Обойдя полнеба, луна стала на юге. Отсюда ей была видна маленькая комнатка, где, на белой кровати, светилась белая фигурка.

Люся не могла сегодня спать.

Да разве можно спать в такую ночь?. Ну, разве не чудесна жизнь, дающая такие ночи? Разве не чудесна любовь, при свете которой весь мир кажется новым и сказочным?

И пески, милые пески — свидетели его поцелуев...

Так, как сегодня, не целовал он еще никогда...

— Ведь в воскресенье — наша свадьба, — сказал он.

И Люся ответила:

— Да, в воскресенье...

Почему не сегодня?

Почему она сказала «нет»?..

И в воспоминаниях жгут его поцелуи...

До воскресенья — три дня.

Почему ты насмешливо улыбаешься, луна?

Ты что-то знаешь?

— Люся, скорей. Портниха торопится в город.

— Сейчас, мамочка, сейчас!

Люся входит в гостиную, где через кресло переброшено что-то белое, воздушное, сказочное.

Портниха, седая, но юношески юркая, ходить кругом, поправляет складки. Люся не слушает, что говорит мать. Смотрит на себя в зеркало.

Удивляется, что так бледна.

— Фату!

Невеста видит свое отражение — и оно кажется и чужим, и страшным. Когда снимает платье, на глазах — слезы.

— Люся, что с тобой?

Но Люся не слышит. Она уже в саду. Открыла калитку. Идет в пески...

Молчат пески...

Серое низкое небо нависло над их простором. Над черным лесом встает тяжелая сизая туча.

Будет гроза.

Солнца нет, но парит. Тяжко. Невыносимо.

В эту погоду пробуждается в человеке все дурное. В эту погоду зреют в сердце черные мысли.

Ты, серо-сизая туча, скорее рождала бы ты молнию!..

— Пески, милые, жгучие пески, вы жжете тело так, как жгут его поцелуи! Но он не целовал никогда тела. Только шею. Один раз — грудь...

Здесь, на песках...

Пески, милые пески, целуйте меня всю!

Вы не можете, вам мешает одежда? Прочь ее, прочь!..

Целуйте горячее мое тело, милые, милые пески!

Ниже и ниже сизое небо.

Черная туча, покинувши лес, распростерлась теперь над песками. Сумерки среди дня.

С резким криком пронеслись над песками три серых и страшных вороны.

«Кра-кра», — донеслось сверху.

Но молчат пески и жгут раскаленными поцелуями обнаженное тело прекрасной девушки.

Есть жизнь в песках.

Тяжелой походкой пробирается через пески Чужой. Его одежда в пыли. Позади него — длинная дорога. Его небритое лицо и впалые глаза говорят о бессонных ночах.

Он не голоден. Есть еще хлеб. Но мучит жажда, зной.

Неведом его дальний путь. Неведом самому. Но только подальше — подальше от людей...

Люди и он... между ними — бездна... Чужда ему человеческая жизнь. Людские стремления. Непонятны и дики их законы. Он презирает их.

Есть в жизни один закон — и закону этому повинуются в природе все, начиная от небесных светил, пожирающих друг друга, и кончая ничтожными насекомыми.

Закон сильного — закон зверя.

Человеческое-звериное «я хочу».

Дальше, дальше вперед. Дальше от людей, придумавших для сильных тюрьмы, цепи, железные решетки.

На руках еще не зажили раны от прутьев чугуновых, подпиленных твердой рукой. В ушах не замер еще лязг задвигаемых засовов.

Назад — никогда!

Рука судорожно сжимает нож.

Дальше, дальше — все равно, куда...

Поднимается ветер. Гудят пески.

Недовольно гудят, попираемые ногой Чужого.

Есть жизнь в песках.

Чужой — на откосе холма, и смотрит, и смотрит на нагую спящую девушку. Белое тело лежит на белом песке. Закрыты глаза. А на устах тихая улыбка.

Снится милый белой девушке...

Спускаются тучи. Воздух — раскаленный свинец. Ветер крутит песок, играет черными кудрями и гудит:

— Проснись, проснись, белая девушка!..

Жадные поцелуи, знойные поцелуи сыплются на тело девушки.

Цепкие руки гасят ее сопротивление. Жесткие глаза велют заглушить крик.

И страшны, и мучительны эти непрошенные ласки...

Ласки Чужого... Ласки зверя...

Не задела гроза песков.

Там, за лесом, где ласкается к небу зеленый бархат лугов, прогрохотали ее громы, отсверкали молнии, пролился обильный дождь.

А над лесками из серой дымки падают только теплые капли.

Плачет чистыми, грустными слезами небо и глубоко уходят они в песок, берегущий страшную тайну.

Далеко через пески, в лес, где не выдаст их мох, уходят следы Чужого.

И на месте последней борьбы — невысокий песчаный холмик.

Наскоро, торопясь, забрасывал белое тело Чужой. И крепко прижался к нему влажный песок, и жадно впитывает в себя теплую кровь, сочившуюся из девичьей груди...

Серые и злые, переговариваются на опушке любопытные всезнайки-вороны.

Молчат пески...

ВИНОВНА

— А я тебе говорю, что был десяток! — визгливо кричала толстая женщина в красном капоте, тыча мясистым пальцем в стоящую перед ней тарелку.

— Да брось, Маня! — отозвался из соседней комнаты муж, — ну, велика важность, что Луша взяла одно яблоко?

— Не брала я ваших яблок! — грубо ответила девушка в засаленном фартуке.

— Она не смеет лгать! Не смеет! Дрянь! Воровка! — истерически выкрикивала женщина в капоте.

Муж демонстративно захлопнул дверь. Толстая женщина с треском отодвинула тарелку, сказав:

— Растопляй плиту!

Луша молча вышла из комнаты.

Эти сцены были такой же неотъемлемой принадлежностью суток, как обед и ужин.

Несправедливость была тоже неотъемлемой частью Лушиной жизни. Она не помнила периода, когда за ней не кралась бы по пятам эта черная, надоедливая тень.

Лушино детство — сплошной серый комок, склизкий и отвратительный. Оно шло под аккомпанемент брани вечно пьяного отца и причитания больной матери. С восьми лет Луша была нянькой, кухаркой, судомойкой.

Когда умер отец, мать рассовала детей по приютам и родственникам и пошла работать. Через полгода умерла и она. Но перемена была очень небольшая: дома ее колотил отец, здесь была возненавидевшая ее с самых первых дней тетка.

Дядя, безвольный, слабый, в душе очень любивший девочку, задумал отдать ее в школу. Там в ее детском мозгу забрезжило впервые сознание человеческого достоинства. Но проявлялось оно у нее в довольно своеобразной форме.

Раньше девочка молчаливо сносила побои, упреки, брань — теперь стала грубить и огрызаться.

Когда появилась на свет первая двоюродная сестра — Лушу взяли из школы и запрягли в знакомое ей с детства ярмо няньки.

Дядя протестовать не смел. Марья Ивановна была в доме диктатор.

Луша очень любила дядю. Она инстинктивно чувствовала, что и он несчастен, что и его жизнь отравлена существованием толстой женщины с грубыми руками.

Луша ненавидела тетку всей душой, но ненависть ее была ненавистью слабых, униженных, безвольных.

Ненавистью червяка, попираемого грубым сапогом.

По праздникам, взяв двоюродных сестренек, Луша шла с дядей в церковь. Стояла добросовестно всю обедню, прислушиваясь к давно знакомым, но ничего не говорящим словам службы. Усердно крестилась. Клала земные поклоны.

Но зачем делала это она, чего просила у Бога — Луша не знала.

Была ли Луша добра?

На дворе она часто делилась последним куском с тощими кошками, сметенные со скатерти крошки отдавала голубям.

И если бы кто спросил Лушу, зачем она делает это, ответила бы серьезно:

— Ведь они голодны!..

Голод — это страдание было слишком хорошо знакомо Луше и всякое голодное существо возбуждало в ней глубокое сострадание.

Завидовала ли Луша богатым, сытым, красиво одетым?

Она их глубоко презирала.

Но никогда ей в голову не приходило, что у нее, Луши, могут быть красивые платья, кольца и деньги.

А когда она видела дворничихину Шурку в шляпке с

пером, в яркой шелковой блузке, с розовой вуалью на раскрашенном лице, — Луша, любопытно оглядывая ее с ног до головы, бормотала:

— Дрянь!

А почему Шура — дрянь, почему нельзя так жить, как она — этого Луша не знала.

Девушка быстро шагала по улицам пригорода, кутаясь в большой платок.

Дул резкий ветер. Моросил дождь. Несмотря на конец августа, целую неделю стояла холодная погода. Улицы пригорода обратились в сплошное болото.

Луша бежала к портнихе. Марья Ивановна велела поторопиться с платьем.

Луша шла сюда всегда очень неохотно, особенно вечером. Она плохо ориентировалась в этих переулках, в этих однообразных улочках, где можно было заблудиться и днем.

— Кажется, этот поворот... Фу, да здесь нет ни одного фонаря... А грязь, наверное, такая, что можно утонуть по колено...

Луша пробиралась ощупью вдоль заборов и стен. Из чердачного окна падал свет, освещавший громадную лужу посередине улицы. Луша, занесшая было ногу, шарахнулась в сторону и налетела на какую-то фигуру.

— Ай! — крикнула девушка.

— Ага, попалась! — ответил ей хриплый мужской голос и какая-то склизкая рука схватила ее за пальцы.

— Пустите, — испуганно вырывалась Луша, — мне очень некогда!

— Ладно, ладно, — отвечала фигура, толкая ее к забору.

При слабом свете, падавшем из верхнего окна, мелькнуло Луше бородатое лицо. Отвратительный запах неочищенного спирта и чего-то приторно-съестного обдал ее лицо.

Луша пробовала освободиться, но руки, обхватывавшие ее, становились все туже.

Тогда она крикнула — пронзительно и громко. И крик ее раскатился по темному переулку. Но в ту же минуту кулак опустился на ее лицо, а другая рука сдавила горло. Луша пошатнулась от удара и упала на мокрое крыльцо.

И с последним проблеском сознания почувствовала, что какое-то отвратительное пьяное животное навалилось на нее всей своей тяжестью.

Воспоминания этого вечера остались в Лушиной памяти, как отдельные обрывки какого-то страшного кошмара.

Быть может, Луша примирилась бы со временем с совершившимся ужасом, как мирилась со всеми несправедливостями своей жизни. Но ведь кошмар имел осязательные последствия!..

Не сразу пришла к этому сознанию Луша. А когда пришла — застыла в тупом ужасе.

И одна мысль была в ее мозгу, одна мучительная мысль:
— Как скрыть?

Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и чем ближе подходил решительный срок, тем равнодушной и тупее становилась Луша.

И думала только об одном: чтобы тетка не заметила.

Сколько чисто звериной хитрости надо было Луше, чтобы тетка не проникла невзначай в ее тайну.

На какое избавление надеялась она? Чего ждала?

Луша и сама этого не знала.

Мало было народу в зале суда, когда разбиралось дело мещанки Лукерьи Петровой, обвинявшейся в убийстве своего новорожденного младенца.

Молодой адвокат, поглощенный мыслями о завтрашнем громком процессе, где он будет выступать наряду с круп-

ными светилами юридического мира, говорил вяло и лениво.

Он не потрудился разбить стену недоверия, выросшую в душе его подзащитной, не попробовал даже добраться до тайников Лушиной души. И защищал ее общими готовыми фразами.

Луша отвечала на все вопросы так равнодушно, словно не отдавала себе отчета в том, что ждет ее за стенами зала.

Когда спросили, что побудило ее задушить ребенка, она открыла широко глаза и просто ответила:

— А куда же с ним-то?

Ответ обвиняемой показался присяжным циничным и грубым...

А когда суд вынес Лукерье Петровой обвинительный приговор — лицо подсудимой осталось таким же равнодушным.

Ни страха, ни раскаяния — ничего нельзя было прочесть в ее чертах.

Ничего, кроме тупой и равнодушной покорности судьбе...

Приложение

ЛИТЕРАТОРЫ И ХУДОЖНИКИ ВОИНАМЪ RAKSTNEKI UN MĀKSLINĒKI KAREIVJEM



УЧАСТВУЮТЪ:

Аспазія (пер. Тэка Фрейберга), Евгения Гарнбергъ-Пухера (пер. Н. М.), Николай Галаголевъ, В. Гюнтеръ (перев. В. К.), В. Ласкинъ, Ф. И. Липовъ, Н. Магнуссофская, Николай Музыковъ, Н. Попомарскъ, Яна Порукъ (пер. В. Эглитъ), Райнисъ (пер. Эд. Варпа и В. Дамберга), В. Талескай, Вессолоудъ Чепинкинъ, Евгений Шаранцевъ. Въ худож. отдѣлѣ: академикъ Н. Пурантъ, скульпторъ Др. В. Гарнбергъ, художники: Яна Росенталъ, Р. Тилберга, Х. Цепляйтъ.

PEEDĀLAS:

J. Akurators, Fr. Bahrs, A. Baltpurwitsch, Art. Behrschuh, P. Blau's, Anna Brigader, K. Hewitsch, Wiktors Egliis, Pawils Gruena, E. Hirschberg-Puscher (tulc. Lt.), Iwande Kaifa, O. Krollis, J. Lihgutis, Paleera padshila, A. S. Puschkins, (tulc. Karlis Krubasa), Pawils Rosits, A. Sauleets, Ludwigs Schantsklers, Hans Schmidts, (tulc. Lt.), K. Skalte, Skuja Fridis, Ed. Wulfs. Makhkals Nodaks! akademiķis W. Parwits un makhklineeki: Jans Rosentals, R. Tiltbergs un K. Zepiits un komponists J. Sahiits. Wanka silmojums J. Rosentals. Fotografija A. Zahlscha. Karikaturs K. Zepiitscha.

ИЗДАНИЕ РИЖСКАГО ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА. РИГА, 1915.
RĪGAS LĪTERATŪ UN MĀKSLINĒEĶU BĒDRĪBAS ĪSDEWUMS. RĪGĀ, 1915.

В ПУСТЫННЫХ ЗАЛАХ

В тихие ночные часы, когда замирает и без того полумертвая жизнь огромного дворца и остаются бодрствующими только часовые, подобно изваяниям безмолвно стоящие у входов длинных коридоров — в эти тихие часы поднимается он со своей мягкой постели и, беззвучно ступая по густым коврам, начинает бродить по громадным пустым залам. Он уже давно не может спать. Уже давно влачит он жалкое существование полубольного-полубезумного. День — это кошмар; ночь — это бред. Что страшнее, день или ночь? Днем невозможно одиночество: весь день вокруг него люди, лстивые, угождающие его малейшим желаниям, но тщательно скрывающие правду, ту страшную правду, что отражается только в их глазах. И с каждым днем все грознее, все неизбежнее эта правда...

Хотелось бы убежать, убежать от всех, чтобы не видеть, не понимать этой близкой правды. Но куда бежать?

Как тень, бродит он по пустым залам; но нет, залы не пусты, и даже теперь, ночью, он не один.

Они выползают из всех темных углов, они смотрят на него из всех дверей, они смыкают вокруг него магическое кольцо — эти непрошеные гости, тени прошлого.

И преступления юности, казалось, давно уже искупленные долгой безрадостной жизнью, омытые мученической кровью жены и сына — они снова выползают в полумраке зимней ночи, и давят мозг своею невыносимой тяжестью.

«Довольно, довольно!» — хочет крикнуть престарелый император, отмахиваясь руками от назойливых видений, но глаза его сами, против его воли, вглядываются в темноту, стараясь узнать новые, давно знакомые, давно полузабытые фигуры.

Гонимый холодным ужасом, спешит он в другие покои — но и там он не один, и там изо всех углов выползают мрачные кровавые тени. Изможденные, худые, оборванные, проходят перед императором его полки, медленно, сосре-

дотоечно, как на параде, молча отдают честь, но из глаз их смотрит голод и смерть... и она — страшная правда, которую так боится прочесть он в глазах своих приближенных.

Бесконечной вереницей тянутся полки, и тают в белесовато-зеленом тумане ночи... Они уходят, безропотно и безвозвратно уходят в тьму смерти, — бессмысленная и бесполезная жертва! А эти женщины с бледными, измученными лицами, с немым вопросом в страдальческих глазах: «Где наши мужья? Сыновья? Братья? Где отцы наших детей?»

И так жутко, так больно от взгляда взгляда этих глаз, что никакие слова оправдания не идут на язык.

«Ведь и я такая же жертва, как вы», — шепчут беззвучные губы, — «ведь не я начинал войну... не я, а "он"... и я ведь жертва...»

Но не слышат они оправданий старого монарха, и идут все новыми и новыми толпами, с этой страшной правдой в глазах...

Ужасны призраки зимней ночи, но есть во дворце один, самый страшный, перед которым бледнеют все тени убитых солдат и измученных женщин. Его можно видеть только на рассвете.

И, как только пробьются на востоке первые дневные лучи, старый монарх с леденеющей кровью ждет, жадно всматриваясь в страшную тьму.

Но она еще не идет, Белая дама Габсбургов, хотя с каждым рассветом ближе ее шаги, и слышнее шорох ее длинных одежд, от каждой складки которых веет ужасом и холодом смерти.

Еще нет ее — но она уже близка, и близок тот день, когда двери склепа закроются навеки за последним императором Австрии...

Он знает это — и ждет, и до утра бродит, живая тень среди привидений, по громадным, неуютным залам дворца.

А когда в готические высокие окна проникнут первые лучи холодного зимнего солнца, император медленно возвращается в свой кабинет с тяжелым предчувствием новых поражений, новых печальных вестей...

ОБ АВТОРЕ



Елизавета Августовна (Федоровна?) Магнусгофская (наст. фамилия Кнауф) родилась в Риге 2 февраля 1890 г. в семье прибалтийских немцев.

Биографические сведения о ней достаточно скудны. Известно, что она принимала участие в подготовке альманаха «Литераторы и художники воинам» (Рига, 1915); вероятно, в том же году работала сестрой милосердия в военном госпитале. Сотрудничала в газетах «Прибалтийский край» и «Рижский вестник»; вместе с небольшой редакцией последнего в 1916 г. переехала в Юрьев. По собственным воспоминаниям, «совмещала в своем лице обязанности секретаря редакции, выпускающего, хроникера, переводчицы, корректора, рецензента и, кроме того, находила время писать рассказы, юмористические фельетоны и стихи»¹.

После закрытия газеты в конце 1918 г. Магнусгофская оказалась в Петрограде, где, по сведениям А. Филея, «оставалась до 1919 года или же приезжала туда повторно», пытаясь заниматься переводами — сохранилось письмо к ней А. Блока относительно сделанного ею перевода из Гейне. Согласно тому же источнику, «в 1920 году Елизавета Кнауф оказывается в Казани, затем судьба заносит ее в Царицын, потом в Астрахань. В 1921 году она оказывается в казанской тюрь-

¹ Магнусгофская Е. За кулисами редакции: Памяти «Рижского вестника» // Последние известия (Ревель). 1926. № 5 (1728). 9 янв.

ме, арестованная, вероятно, как противница большевизма»². Сведений о том, как ей удалось освободиться, не имеется, однако в том же году Магнусгофская возвратилась в Латвию и 16 июля 1921 года получила латвийский паспорт. С 1922 г. состояла в Комитете беженцев. Работала в газете «Маяк».



Комитет по устройству дней русской культуры (1927). Е. Магнусгофская – третья слева в первом ряду.

В 1925-1929 гг. Е. Магнусгофская работала в газете «Слово», где возглавляла ряд отделов и ведала переводами из иностранной прессы, а также выступала с очерками. Впоследствии она избрала многих сотрудников газеты в мемуарном романе «Зимние звезды» (1932). В 1926 году участвовала в подготовке Дня русского инвалида, в 1927 г. была членом комитета по устройству Дней русской культуры.

В 1929 г. работала в сменившей «Слово» газете «Наше слово», где публиковала краеведческие очерки, позднее, в начале 1930-х гг. — в газете «Новый голос».

Первая книга Магнусгофской, стихотворный сборник «Лепестки сирени», вышла в 1925 г. За ней в 1929 г. последовала книга «Не убий» — сборник рассказов, объединенных темой «преступлений страсти». Чуть позже увидел свет сборник «Свет и тени», снабженный предисловием П. Краснова (1929); в этих ура-патриотических рассказах из эпохи Первой мировой войны отчетливо звучали рели-

² <https://www.russkije.lv/ru/lib/read/knauf-magnusgofsky.html/>.

гиозно-мистические нотки. Увлечение теософией и астрологией отразилось в сборнике «Тринадцать: Окультистские рассказы» (1930).



Редакция газ. «Слово» (1926). Е. Магнусгофская – в центре второго ряда.

Точная дата смерти Магнусофской неизвестна. Как указывает А. Филей³, ее гражданский паспорт был аннулирован по причине смерти 23 апреля 1939 г., однако есть и упоминание о ее смерти в 1942 году в период нацистской оккупации в Рижском доме престарелых.

³ Там же.

Оглавление

Роман, каких много	9
Лоттхен	13
Дурной глаз	26
Не убий	35
Из записок убийцы	42
Тридцать лет	48
Мечь	53
Ада	64
Маска	78
Молчат пески	87
Виновна	92
<i>Приложение</i>	
В пустынных залах	99
Об авторе	101

Книга «Не убий: Сборник рассказов» публикуется по первоизданию (Рига: Саламандра, 1929). Эту «В пустынных залах» публикуется по изд.: «Литераторы и художники воинам» (Рига: Изд. Рижского литературно-художественного общества, 1915).

Тексты печатаются в новой орфографии, с исправлением очевидных опечаток. Максимально сохранены авторские особенности пунктуации, в остальном пунктуация приближена к современным нормам.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.